

СВОЕВРЕМЕННАЯ МЫСЛЬ

Анатолий Ахутин

ВОЙНА
И
ИНТЕЛЛЕКТ



Серия «Своевременная мысль»

Анатолий Ахутин

ВОЙНА
И
ИНТЕЛЛЕКТ



Рига

2024

Содержание

Предисловие автора к русскому изданию	5
Введение	11
I. Ответственность интеллектуала	15
II. Искусство и ответственность	23
III. Кризис и критики	29
IV. Интеллект благоустройства	36
V. Свидетель и судья	43
VI. Война против интеллекта	51
VII. Бытие против интеллекта	55
VIII. За стенами благоустройств	63
IX. <i>Что и ничто</i>	70
X. Война, объявленная миру	79
XI. Разрывы и участие	85

Предисловие автора к русскому изданию

Публикуемые тексты не предназначались к печати. Это своего рода дневник первых месяцев открытого военного вторжения России в Украину. Теперь благодаря моим украинским друзьям из издательства «Дух і літера», прежде всего Леониду Финбергу, эти тексты стали книгой, она переведена на украинский язык (спасибо замечательному переводчику Антону Бондаренко) и недавно издана (Ахутін А. Війна і інтелект. Київ: Дух і літера, 2023).

Мой давний друг Юрий Сенокосов предложил издать ее русскоязычный оригинал, и я с благодарностью согласился. Жанр дневника не предполагает основательной правки при переиздании, я внес только несколько уточнений и исправлений. Скажу здесь пару слов о передуманном за эти годы (вот уже почти три года полномасштабной войны, а с 2014 года, когда Россия начала войну «гибридную» и мы с женой уехали в Украину, – все десять).

Ползучая война России, начавшаяся аннексией Крыма и созданием гибрида «Новороссия – ДЛНР», перешла в открытую агрессию против Украины. Террористический характер войны, развязанной Россией против населения Украины, стал очевиден. Разрушение энергетической инфраструктуры, уничтожение городов, поселков, хозяйственных угодий, подрыв Каховской ГЭС, саботаж зернового соглашения, ракетные обстрелы портовой техники, продовольственных складов,

амбаров, ядерный шантаж – это не «военная операция» против арсеналов, а военный террор против населения, война на истощение и угроза истреблением.

Три определения российской войны, которыми я тогда попытался обозначить ее характер, а именно: экзистенциальная, мировая и нигилистическая, — кажутся мне верными по сей день, и мне не раз встречались схожие формулировки. Эти предикаты определяют не только характер войны, но и само существо агрессора: война эта – не чрезвычайная и потому временная «операция» некоего политического субъекта «государство Россия», а сам способ его существования, его состояние, *status belli* как *status quo*. Вся пропаганда в России разжигает агрессивную ненависть и милитаристский патриотизм, мобилизуя людей на войну против виртуальных врагов-«русофобов» и наскоро придуманных укронацистов и используя привычные символы: НАТО, США, Запад.

Уничтожение Украины отнюдь не главная цель — необходимо превратить состояние войны в рутину, в норму повседневной жизни. Военный террор и ядерный шантаж в имперских отношениях с миром (миф «русского мира»), милитаристская мобилизация и репрессивный террор по отношению к собственному населению – такой политический режим получил теперь точное название: рашизм. Нацизм без явного расизма, но с «русским миром», фашизм без явной власти одной партии, но с «вертикалью власти», большевизм без коммунизма, но с полновластием ЧК и чекистом в вождях, сталинизм без ГУЛАГа, но с тотальным надзором и репрессивной судебной системой. Всюду гибридность, псевдонимность, лицемерие.

Однако тема моих разговоров с самим собой другая. Всю сознательную жизнь я занимался философией и вот столкнулся с парадоксом: то, что в философии обычно зовется разумом, отказывается разуметь, понимать происходящее. Впрочем, не

стоит преувеличивать – конечно, это не философия недоумевает, а всего лишь я не умею понять. Не могу принять, не хочу вмещать тотальный нигилизм и пустое самоутверждение, грозящее уничтожением мира, в какую-то знакомую мне разумную систему. Ведь это и значит понять: волей-неволей принять и оправдать. Или нет?

Вот в «естественном свете» знакомого нам научно-объективного разума Гоббс, например, увидел войну как естественное состояние, то есть состояние самого естества, природы человека. Относительно естественной войны, стало быть, мир, который люди хотят обеспечить себе, учреждая законосообразное государство, – состояние неестественное. Государство – искусственная конструкция, временка, держащаяся силой, пусть и легитимной. Война, дескать, в природе вещей, а мир надо строить и удерживать богоподобной монархической силой, потому что «природа» никуда не уходит.

Вот Лейбниц со своей теодицеей, которая одновременно и космодицея, будет нас учить оправданию разумности всего в конечном счете.

Вот Спиноза скажет нам: не возмущайтесь, не презирайте, не смейтесь и не рыдайте – а понимайте. То, с чем ваша страсть (эмоция) не может смириться, выяснится внимательной мыслью (социологической или политологической наукой) в своей необходимости, и вы полюбите божественное творение интеллектуальной любовью, сколь бы ужасными ни были ваши случайные – местные и временные – обстоятельства.

Томистский разум (заимствованный у Аристотеля) – уже не естественный, а сразу божественный – распорядится миром по-своему, но все в нем будет на своем месте, со своим назначением и равно причастным благому божественному замыслу.

Идея общего блага освещает платоновский космос, образец для разумного устройства и человеческого полиса. И в

идеальном государстве Платона монархия политической разумности не держится сама собой, как космическая, она требует сражений для противоборства хаосу и анархии.

Это наводит на мысль, что и космос не просто сияет благоустройством, а находится в противоборстве хаосу, в войне с ним. Да и Гераклит нам скажет, что война (полемос) – отец всего и царь всего, а его космо-логос есть не кристалл, а «вечно живой» огонь.

Итак, если мы хотим уловить тотально нигилистическую войну (своего рода абсолютное зло), стоит присмотреться к двоякой природе «естественного» (или «божественного») разума. Надо различить в состоянии мнимого мира как бы две латентных войны: позитивное противоборство внутри искусственного разума политической системы и негативную войну против самой системности (=разумности). Есть война, сражение, противоборство внутри разумного мира, и ее, значит, можно этим миром-разумом уразуметь, понять, принять. Но вот есть война против самой разумности: системности, космичности, законности. Различим войну полисов и войну с самой политической разумностью (законом, правом, договором, конвенцией), противоборство внутри космо-логоса и войну хаоса с космосом, войну, вмещающую в благоустройство целого, и гностическую войну с самим благоустройством мира, войну суверенных государств и войну «естественного состояния» (то есть войну всех против всех) против «искусственной» государственности – против самого искусства, науки, разума быть государством и строить межгосударственные отношения. Ведь разуму не трудно сообразить, что все эти политические существа именно в силу их неестественности, условности, конвенциональности, добровольности нуждаются в насилии власти, пусть и легитимном.

Соответственно, приходится различить два разума: разум-строитель и (так получается) разум-разрушитель. Разуму-строителю не гарантировано метафизическое бытие, он включает в свое бытие возможность не быть, а значит, особое усилие, особую работу, чтобы быть, – работу своего начинания, учреждения, отстаивания, доказательства, оправдания, обоснования своей универсальности, истинности, своего благомыслия и потому законности своей власти. Условностью (условленностью) этого «потому» и ограниченностью легитимной власти пользуется власть, ничем себя не ограничивающая, в своей деструктивной войне.

Однако мы не в духе Гегеля, всем этим занимается не Разум, а смертный человек, но человек политически озабоченный. Стоит, стало быть, вдуматься, что это за «экзистенциал» – «политическая озабоченность». И как это так вышло, что современный человек большей частью находит себя «вне политики», то есть политически беззаботным?

На этом месте я вспомнил понятие частного мышления, однажды мельком разобранный М. Бахтиным в раннем очерке «К философии поступка». Как нельзя удачнее оно стало для меня ключом для узнавания самого себя в моем собственном положении. Я участник – хотя бы мысленный – в событии Украины. Украина становится собой, отстаивая свой политический и национальный суверенитет, свой политический «космос», свою разумность. Украина отстаивает себя в экзистенциальной войне не с другим государством, а с нашествием политического нигилизма. Суверенный украинский полис отстаивает свое разумное частное бытие, сражаясь с существом аполитическим, безыдейным, внеморальным, внутренне беспредельным, а потому кажущимся безумным.

Октябрь 2024 года

Введение

В Украине война. Российские войска без объявления войны вторглись в Украину. Все в российской политике лживо, двулично, лукаво, шкодливо. Крым захватывали «зеленые человечки» неведомого происхождения, план «Новороссия» мимикрировал под гибридную «гражданскую войну», которую свободолюбивые народы «донбасцы» и «луганцы» с помощью России ведут против «бандеровской» Украины. Вот и теперь война не объявлена, а города по всей Украине обстреливают ракетами, бомбят жилые кварталы, больницы и школы, уничтожают людей, оккупируют территории и бесчинствуют на них – в ходе «военной операции» без правил и сроков... Цель этой «операции» с глумливой двусмысленностью названа «денацификацией», провозглашается освобождение от выдуманных нацистов, но имеется в виду, наоборот, нацистская «деукраинизация» Украины, превращение ее в малороссийскую окраину России.

Россия ведет агрессивную войну против Украины. Это война-террор. Отнюдь не военные «объекты стратегического назначения» ее первая цель, а сами украинцы, граждане суверенного государства, независимая политическая нация. Дело идет о существовании Украины. Можно вспомнить знаменитые слова Голды Меир: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса».

Эта война отнюдь не очередное военное столкновение, не очередная война в мире, состоящем из войн. Я живу в Киеве. В нашем районе пока относительно тихо, лишь порою слышно, как работает ПВО, но монитор погружает в адское зрелище

войны; друзья, близкие и дальние знакомые в фейсбуке рассказывают о гибели, ужасе и страданиях, о потерянных и разрушенных домах – о катастрофическом масштабе человеческого бедствия. Снова и снова – поверх всей боли, поверх возмущения российской ложью, граничащей с клиническим безумием, поверх разговоров – постоянно в голове мысль: о чем тут говорить?! Нет, никаких сложностей, никаких вопросов. Ясно как солнечный день: здесь есть безусловно виноватые злодеи и безусловно невиновые жители. Для Украины эта война отечественная, та самая – священная, народная. Это война черно-белая. Тут все просто. Это не по ту сторону добра и зла, а однозначно зло против добра. Зло во всей бесстыдной откровенности уничтожающего *ничто*, а добро во всей простоте житейского добра, которое помещается в рюкзачок беженца.

Армия, добровольцы, жители, защищающие свои дома, свои города, свою страну, и агрессоры, обстреливающие бегущих стариков, женщин, детей, насилующие, мародерствующие. Российские войска, не дающие провезти в Мариуполь воду, еду, лекарства... Нет, для меня это война совершенно особая. Она обнажает суть дела почти до голой схемы и переводит разговор о войне на другой язык. Это не язык разного рода «государственных интересов» (*reasons of state*), завоеваний, геополитики, экономики, для описания и понимания этой войны необходим, как ни смешно это поначалу покажется, язык мысли, которая обычно называется отвлеченной. Речь о первом и последнем. Война ведь тоже «отвлекает» от привычной жизни, подводит жизнь к ее пределам – не только к смерти, но и к смыслу. Она все в жизни ставит под вопрос, испытывает на прочность, достоинство, аксиоматическую непреложность. Противоборство простейшего (житейского) добра беспредельному злу происходит не в абстракциях ума, не умеющего справиться со своим возмущением, а на деле, на глазах у всего мира, вот в этих самых ежечасных новостях. Бессмысленное

уничтожение жилых кварталов и целых городов, беспорядочные ракетные удары, обстрелы автобусов с беженцами и частных автомобилей... Это не абстракции схематизирующего ума – абстрагирует и упрощает здесь само зло, обнаженное в своем непристойном бесстыдстве. Речь здесь идет об этической, а возможно, и глубже – об антропологической катастрофе.

А я сижу в тепле и сытости, читаю фейсбук, участвую в спорах друзей и коллег, пытаюсь прийти в сознание... Находясь в таком безответственном бытовом расположении среди войны, тем более чувствую ответственность. Участвовать в волонтерстве по разным причинам не могу, вот и остается только место ответчика перед войной-обвинителем.

В результате сложился некий текст вроде философского дневника. Это не статьи, не книга в проекте, это дневник, связанный одним сюжетом, но без плана и последовательного развертывания темы. Сюжет этот – мышление (интеллект) как ответственность.

I. Ответственность интеллектуала

Многознание уму не научает.

Гераклит

Я – русский. Я прожил всю жизнь у Советской России за пазухой. Для меня отъезд в Украину в сентябре 2014-го, когда и началась эта война, своего рода метанойя – изменение ума, покаяние. Понятно, что, разбираясь с собой, я остаюсь в спорах со своими тамошними коллегами и друзьями, со своей собственной тенью.

Человек – существо интеллектуальное, именуемое *Homo sapiens*. *Sapientia* – понимающая мысль – не предикат некоего *animalis*, а само существо, субъект всех предикатов, подлежащее всех сказуемых. Человек не располагает мыслью, а располагается в ней. Это обстоятельство можно назвать онтологической ответственностью: все реальности обусловлены пониманием, и все понимания (воображения, фантазии, идеи) так или иначе реальны.

Тем более удивительна была для меня сила сопротивления, которое оказывают российские интеллектуалы, когда встает вопрос об ответственности граждан за войну, развязанную их «городом-государством». Казалось бы, интеллект и есть то в человеческом существе, что усложняет его существование вниманием к вопросам и ответственностью. Но прах «интеллигенции» вместе с ее гражданственностью, общественностью и прочей публицистикой мы давно отряхнули с наших ног, и каждый занялся полезным интеллектуальным трудом. Общество разошлось по традиционным конфессиям и интеллектуальным профессиям, а место общественного самосознания

оставило пустым. Власть охотно заняла это место, разместила там СМИ (в России это оружие массового поражения сознания) и время от времени приглашает интеллектуалов к соучастию.

У каждого свое призвание – ученого, художника, чиновника, бизнесмена... Есть свое призвание и у политика. Политика ведь тоже призвание: специальная профессия. Политик, надо полагать, знаток в том, что касается «полиса», искусства жить сообща, общего дела. Издавна заметили, что в профессии политика, в заботе о всеобщем как особом призвании скрыт опасный конфликт: дело, которым сообщество призвано заниматься сообща – *res publica*, – оказывается частным делом профессионалов или вообще приватизируется корпорацией или лицом, представляющим «волю народа». Политическая мысль претендует на полномочия власти, власть же, по статусу владея «общей вещью», делом сообщества, узурпирует полномочия ума. Политические мыслители норовят устроиться при дворах, войти в доверие к государям под видом советников. Власть же диктует свои постановления с авторитетностью политического интеллекта. Со времен Платона понятна, кажется, эта внутренняя связь идеи ума как понимателя общего блага и идеи монументальной власти разумного благоустройства. Словом, вековечный образ: тело во главе с головой.

Эта идея разумного благоустройства противостоит, противоборствует другой... нельзя сказать идее, скорее безыдейной, хаотической, болтливой – иной раз кажется, вовсе бессмысленной – стихии политической публицистики, а именно «народному собранию» (возьмем этот термин греческой политики как парадигму). Собранию людей – специалистов в своих особых делах, но равно невежественных в искусстве (или науке) общего дела. Так говорил Платон.

Впрочем, конфликт здесь не только между претендентами на власть. Конфликт еще и между мыслью и действием,

вопросом (сомнениями, оспариваниями – мышлением) и ответом (решением, законом, приказом) – двумя полюсами ответственности, ведь мысль со своими рассуждениями, сомнениями и диалектиками безответственно бездейтельна, а действие безответственно в своей решимости.

В отличие от греческого полиса, в современном государстве, в мире множества профессиональных призваний – уже далеко не искусств-ремесел, а разного рода индустрий – сама машина управления устроена как своего рода государство в государстве. Где же в нашем мире место «народного собрания» или – скажем более близким нам термином – место гражданского самосознания? Где современное сообщество могло бы на деле общаться в заботе о своем благоустройении? Иначе говоря, где место политического мышления сограждан? Где бы оно ни было, заполнено оно до предела, а лучше сказать – беспредельно: политические науки и индустрия social sciences, работа парламентов, теледебаты, индустрия журнальной аналитики, публицистика... Почему же создается впечатление, что место это – место политического мышления как бодрствующего самосознания сообщества – остается пусто или, того хуже, узурпируется пропагандой?

Чем дальше «мир идей» уходит в сверхчувственную высь утопий или чем больше замыкается в профессиональных кабинетах, оставляя политику прагматикам и реалистам, тем безумнее и самовластнее становится политическая реальность. Чем больше профессионал овладевает специальными правилами и приемами своей дисциплины и, тем самым, отвечает призванию ученого, тем меньше оказывается он способным судить о происходящем событии, где нет систем, дисциплин, руководящих правил и определенных понятий. Тем более безответственно поэтому приходится ему черпать правила для руководства своего политического ума из авторитетных для него доктрин или руководящих указаний власти. Иными

словами, чем большим знатоком своего дела интеллектуал-теоретик становится, тем более утрачивает он способность ответственного суждения в уникальной исключительности происходящего исторического события. Здесь приходится судить о происходящем событии без заранее понимающих понятий, приходится судить не как профессионалу, а под свою личную ответственность, на свой собственный страх и риск. Или отдать суждение-решение политику-специалисту.

Не случайно вспоминается тут кантовская «способность суждения». Та самая способность (сила) судить лицом к лицу, как будто ты первый судишь в первый раз, которая знакома нам в суждениях эстетического вкуса, требуется и в политических суждениях. На это обратила внимание Ханна Арендт («Ответственность и суждение»^{*}). Правда, если суждения вкуса действуют в эстетической – незаинтересованной, безответственной – рефлексии, то политические суждения суть предельно заинтересованные и потому ответственные суждения, несущие в себе интенции и теоретической необходимости, и этической императивности.

Кантовская «способность суждения» при ближайшем рассмотрении оказывается не только средоточием всех трех критик, но и логической формой самого духа Просвещения. Напомню: суть просвещения, по Канту, это осознание человеком своего совершеннолетия или самостояния, причем отказ вменяется в вину. Тут требуется: 1) отважная способность судить от собственного лица, не опираясь в суждении ни на пред-рассудки (авторитеты, доктрины, традиции, общепринятое), ни на суждения теоретической системы; 2) способность судить в сообществе не только своих профессиональных коллег, но и сограждан, в общем поле чувства ответственности (*sensus communis*); 3) способность, наконец, сохранять связную

^{*} Арендт Х. Ответственность и суждение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – *Здесь и далее прим. ред.*

последовательность своей автономной мысли в рефлексивной общительности, попросту – аргументированно развертывать свое собственное суждение.

Кант связывает эту способность с умом, а неумение судить в отсутствие заранее данных правил называет своего рода глупостью. Об этом подробно говорила Ханна Арендт, а задолго до нее – заметим! – Дитрих Бонхёффер, который имел в виду не ученое сообщество, а людей под тиранической властью. Могучие силы индустрии профессиональных знаний, художественных практик, бюрократического чиновничества каким-то образом приводят к результатам, на удивление схожим с теми, что производит авторитарный режим власти.

«...Любое мощное усиление внешней власти (будь то политической или религиозной), – говорит Бонхёффер, – поражает значительную часть людей глупостью. <...> Личность, подавленная зрелищем всепокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности и (более или менее бессознательно) отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации. <...> Глупец способен на любое зло и вместе с тем не в силах распознать его как зло»*.

Это странное, на первый взгляд, сближение интеллектуального профессионализма и политического авторитаризма, которые по-разному, но равно лишают людей способности суждения и разучают «просвещенному уму» (собственному, последовательному, широкому), позволит понять многое в реакции интеллектуалов на разразившуюся войну.

Выражение «прийти в себя» на русском синонимично выражению «прийти в сознание». Это что значит? Да просто: ты в себе, когда не слит с обстоятельствами, не захвачен ими, как постороннее тело, а отстранен, находишься (находишь себя) в отношении к ним, в ответе за них и за себя в них. Обычно мы

* Бонхёффер Д. Спротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994. С. 34–35.

живем, нечасто приходя в сознание. Работы, заботы, страсти, отдыхи... Привычное дело. Но вот вдруг обычный ход дел прерывается, обстоятельства озадачивают. Бывает, что человек не злится на помехи, а озадачивается. Бывает, что человек останавливается в этой озадаченности и задумывается. Вот тут-то он – человек – и приходит в себя, замечает себя. Иногда – впервые. Приходит и удивляется: что происходит? Где ж он был до сих пор? Вроде бы кругом привычные занятия, заполняющие все время: лекции, симпозиумы, конференции, дедлайны, – а ты вдруг смотришь на все, как юная Наташа Ростова на оперу.

Ты спешишь занять привычную для себя позицию теоретика-наблюдателя, но бывают такие события, которые не только требуют участия, но и открывают тебя как соучастника. Вот это сочетание сознательного отстранения и вынужденного соучастия и ставит в тупик. Тупик подсказывает: в своем понимающем мышлении мы одновременно и отстраненно судящие, и ответственные соучастники понимаемого.

Человек приходит (вынужден прийти) в себя, когда привычный мирный мир вдруг взрывается войной. Твой мир, твоей войной. И первая реакция: «Это не моя война! Не трожьте мои чертежи и скорее вернитесь к миру!» Но война не стихийное бедствие и не ведомственное предприятие, это событие политическое – не потому, что дело политиков (я не политик), а потому, что дело полисное, гражданское (я гражданин, всем социальным телом включенный в государственную машину и уже поэтому ответственный – неважно, признаю эту ответственность или нет). Война – событие, которое на деле вовлекает весь «полис» твоего привычного мира в войну. Она вбрасывает каждого, кто мирно сжился со своим миром, – нет, не обязательно в окопы, а в самого себя, приводит в себя (=в сознание) и ставит человека – со всеми его призваниями, верами, убеждениями, занятиями, привычками – под вопрос. Вопрос не «кто победит?», а «что под угрозой?», «о чем идет дело?»,

«чем мы тут занимаемся?». Надо отвечать. Надо отвечать, но интеллект наш занят нашими занятиями, профессиональными вопросами, он не учен политике – ответственности за наш мир, поставленный под вопрос войной. Для профессионального интеллекта война – помеха, и только. Войну ведут *они*, а не *мы*, против кого-то там, зачем-то, не наше дело.

Как и солдатам, которым «родина велела».

Между тем событие войны дает нам шанс прийти в себя. Война не несчастный случай, а внезапное обнажение «удела человеческого»: человек – существо мыслящее не потому, что, помимо жизни, одарен еще какой-то рациональной способностью, а потому, что это существо-под-вопросом, обитающее в мире-под-вопросом. Странное, отстраняющее от захватывающей жизни и ее увлекательных дел бытие под вопросом – таково собственное (!) место человека в странном и страшном событии бытия. Обживание этого странного – неуместного – места и называется собственно мышлением, экзистенциальной энергией интеллекта. Ответственность за происходящее и за себя в нем – не одна из человеческих забот, а образ человеческого бытия как бытия под вопросом. Это называется мышлением – не тем, чем располагает человек, а тем, в чем он располагается.

И вот ведь что удивительно: те самые люди, кто связал свою судьбу с интеллектуальной деятельностью, занимают глухую оборону, когда событие войны (причем войны, в свою очередь, не обычной: здесь и сейчас – мы это видим и увидим еще – дело идет не о территориях и завоеваниях, а об агрессии на само существо человечности) требует ответа от них, от профессиональных интеллектуалов.

Весь мир, затаив дыхание, ждет твоего ответа, решения, а ты бормочешь: это не я, это воля непросвещенного народа, это происки политиков, это вон тот, который узурпировал, оккупировал...

И вот первый урок. Интеллект – насколько он занят «объективным познанием», специализируется в своих профессиональных ячейках, встраивается в научную индустрию, в машину по производству диссертаций, научных трудов, международных конференций – отказывается исполнять свой основной долг: держать ответ за себя, за человека как виновника и соучастника исторических событий. Интеллект отчуждает от себя эту работу, передает философствующей публицистике, политической журналистике и пропагандистскому мифотворчеству. Предательство интеллектуалов – не в релятивизации истины (аналитика оснований, начал, принципов как раз входит в суть интеллекта), а в отстранении от экзистенциально-политической ответственности. Отложенная или доверенная ответственность легко узурпируется первым попавшимся демагогом. Он властвует и действует той самой силой, которую профессионалы оставили за дверьми своих кабинетов, чтобы не мешала. Они поэтому несут прямую интеллектуальную ответственность за действия своих политиков.

Так в 90-е не была проведена десталинизация. Не было суда. Суд – это меньше всего осуждение, суд – это внимательный разбор дела и установление преступности преступного деяния. Далее суд продолжается за пределами суда, в сообществе. Сообщество задает вопрос себе: как, почему это преступление стало возможным? В публичном суде-рассуждении сообщество докапывается до чего-то вроде «корня зла». Люди открывают, понимают, уясняют, что, где, как пошло не так. Такова честная и необходимая работа общественного самосознания. Она проведена не была. И корень зла взошел с новой силой и худшими плодами.

В Евангелии о таком положении есть притча: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным

и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф. 12:43–45).

Когда я оправдываюсь: «Что я мог сделать?» – стоит подумать о том, что вообще подвигает меня на какие-то действия. Если я голоден, многое можно предпринять, чтобы добыть кусок хлеба. Если я влюблен... Если я вдохновлен... Если я просто заинтересован... Так что же? Может быть, стоит обратить внимание не только на препятствия, но и на движущий мотив. Точнее, его отсутствие. Не вдохновляет... Может быть, и здесь стоило бы провести расследование. Куда девался движущий стимул и почему подвиг называется подвигом, что его движет?

II. Искусство и ответственность

Когда хлеб исчезает, на прилавке остается ценник. Так появляются «ценности»: здесь что-то было, что именно – мы забыли, но что-то ценное. Вот стоит церковь. Там кто-то жил. Кто – забыли, но помним: что-то сакральное, священное, вызывающее трепет (что это такое, можно, не трепеща, спросить у Рудольфа Отто, он написал об этом книгу, книгу перевели на русский, можно заняться*) – словом, ценное. Вот лежит книга, там что-то важное сказано, но что – мы забыли, помним только, что ценное, поэтому издадим большим тиражом полное собрание сочинений с комментариями. Будем помнить, например, что была в России великая русская литература. Будем помнить не то, что она сделала и делает с нами, а что она великая, что она культура, а культура сама по себе есть нечто великое и т.д.

* См., напр.: Отто Р. Священное: Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб: Изд-во СПбУ, 2008.

Не остался ли от самой русской культуры лишь ценник «Великая русская культура»? Она жила, билась, страдала, пела, голосила пропаганду, несла окоlesiцу, молвила пророчества, спивалась, умирала... Теперь на ее месте только эмблема ВРК, портреты в школьных классах, набор юбилейных дат, несколько имен, строчек, напевов, которыми перекликаются (перемигиваются) ее владельцы. И чем крупнее и ярче буквы на этом ценнике, чем жирнее позолота на картонке, чем пафоснее риторика ее слуг и защитников, тем более гулко отзывается пустота на прилавке. Там что-то было, но что – мы забыли...

Ах нет, как же мы забыли, когда всю жизнь посвятили ее изучению?! Мы издали комментированные ПСС, более ста толстых томов «Литнаследства», мы были пушкинистами, цветаево- и мандельштамоведами, археологами их родословных, социологами их быта, начитанными знатоками интертекстов, математическими филологами. Мы написали библиотеку исследований и диссертаций. Написали портреты, отлили медали, построили храм. Там кто-то жил...

Нет, в этом храме никто никогда не жил. Он построен нами из «звуков сладких», изученных дотла, и «молитв» для наших наслаждений. На берегах пустынных волн, в широкошумных дубровах, вдали от «житейского волненья», в обителях наших трудов и чистых нег мы перебирали листы дорогих первоизданий, но смотрели на них, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело», мы считали слоги, мы писали свои ЖЗЛы, энциклопедии, анализы и создавали «Всемирные литературы». «Наш уголок я убрала цветами», портретами, цитатами из даром доставшегося добра. За окнами, правда, бывало шумно и тревожно (как вот сейчас), но каждый должен делать свое дело, оберегать свою душу от пены ненависти на губах и быть уверенным в том, что большое Добро как-нибудь само собой, без нас, непременно победит зло, стоит только подождать.

Правда, поэты, писатели, мыслители – герои наших исследований – в минуты роковые (а в истории все минуты роковые) бессмертные пили не из исследований и юбилейных собраний. Они на славу и добро не надеялись и от мятежей и казней не отмахивались. Там, в изучаемом «предмете», стоит операционный стол и шестикрылые хирурги-серафимы вершат свою операцию по пробуждению человека в себя.

«Слово о полку», «Борис Годунов», «Медный всадник», «Возмездие», «Двенадцать», «Поэма без героя», «Век мой, зверь мой», «Котлован», «Доктор Живаго», «Россия, кровью умытая», «Колымские рассказы» – тоже своего рода исследования. Но мир, которым захвачено авторское внимание и который сказывается в «сладких звуках», парадоксально оказывается совсем не сладким. Здесь Обида поднимается от курганов, совесть тяжкая карает. «Ужо тебе!..» – восклицает бедный человек из-под имперских копыт. Здесь «стоит над миром столб огня» и «ветер, ветер – на всем божьем свете», «как пред казнью бил барабан» приближающегося XX века, и позвонки его сломанного хребта можно склеить только своей кровью, а люди «кругом и навсегда огорченные», здесь и сейчас «колеблется земли уклад: они хоронят Бога»... Это все цитаты. Они хотят нам что-то сказать, а мы слышим «мудрость Пушкина», «мировоззрение А. Блока», «творчество Б. Пастернака», как будто Обиды пронесли мимо, Медные всадники вернулись на постаменты, позвонки века склеены чьей-то кровью, а XX век промчался, забрав свои «миллионы убитых задешево»...

Мне скажут: так это различные вещи – поэзия и филология. Поэзия – творчество, запечатлевающее нечто (не будем уточнять что) в тексте, филология – наука о текстах. Так же точно есть разные религии, а есть наука – религиоведение, есть философия, а есть история философии. Есть война, есть описание... Есть описание, скажу я, но нет понимания. Понять, что происходит в поэтическом или музыкальном событии, значит

понять – уловить, уяснить – событие, производимое этими произведениями в тебе. Понять здесь значит некоторым образом дать произвести себя. Так Аристотель говорит о событии «катарсиса», ради которого вся трагедия. Понять историческое событие вроде того, что мы переживаем, вписано в быть, понимание здесь плотно сплетено с участием. Это понимание участное, понимание интеллектом как органом, собирающим все существо человека в восприятие происходящего. Восприятие происходящего, принятие в себя, чтобы дать разразиться в себе – в мысли, чувстве, слове... и собрать, схватить, поймать в смысл. В трактате по этике Аристотель пишет: «...мы проводим исследование не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого проку»*. У нас же на этом месте – «История этических учений».

Чтобы роковое историческое событие не только разразилось и случилось с нами, но и выразилось, сказалось нами, могло бы осмыслиться нами, чтобы его откровение не прошло впустую перед нашей слепотой и глухотой, – глаза, уши, сердце, душа, ум и все, чем там только ни снабжен человек для восприятия и понимающего внимания, должны быть отверсты: глаза беспощадно раскрыты, празднословный язык разных «ведений» вырван, и уголь, пылающий огнем, водвинут в понимающее средоточие.

Есть интеллектуалы, чья совесть сегодня взволнована. Они понимают: не кто-то там корит меня и призывает к ответу – я сам, бессонной ночью читая жизнь мою, спрашиваю себя: «От меня чего ты хочешь?» Мне, больному, слабому и нерешительному очкарику, идти на площадь, где меня через секунду заберут? Писать бесполезные петиции или, наоборот, мужественно не писать и не подписывать верноподданические челобитные? Рвать последние волосы в покаянии?

* Никомахова этика, кн. II, гл. 2, 1103b25. Перевод Н. В. Брагинской.

Но почему бы в разговоре с совестью не прислушаться к своему профессионально развитому органу – интеллекту? Почему бы не призвать к ответу то самое, чем ты искусно владеешь, – интеллект? Только на время отвлечь его от профессионального занятия и занять тем, что происходит. У интеллекта есть задача более достойная, чем изобретение инфантильных отнекиваний и оправдательных софизмов. Смешно пользоваться алиби теоретика, наблюдающего со стороны, или предъявлять индульгенции деятеля культуры, чьим творчеством будто бы заранее оправдано соучастие в преступлениях государства, на содержании которого ты – творец великого и прекрасного – находишься. Ответственный интеллект способен обратить встревоженное внимание к сути происходящего, услышать вопросы, подобные взрывам снарядов, наконец, открыть самого себя под вопросом. История происходит с тобой, ты в нее попал, ты так или иначе соучастник. Воспринять, принять в себя роковую минуту истории во всей ее требовательной вопросительности, принять и попытаться дать ответ. Себе, нам, всем, как и положено ответственному и общезначимому интеллекту.

Иначе говоря, отвлечься от своих увлекательных занятий, от каталогизации ценников и заглянуть в само ценное. Наша жизнь под угрозой, но, может быть, под угрозой что-то большее, более ценное, чем жизнь, без чего жизнь не в жизнь, за что стоит и жизнь положить?

Но как же так получилось, что исторический опыт, его живое испытывание, понимание и высказывание (суждение или поэма), адресованное, обращенное к соратникам по историческому бытию, превращается в посторонний предмет исследования? Как же так случилось, что наш интеллект стал посторонним собственному историческому бытию? Познать ведь отнюдь не значит соучаствовать в познаваемом, входить в историческое со-знание, со-мыслие; напротив, для нас, объективно познающих, это значит раз и навсегда покинуть

действительность исторического опыта, отстраниться от него, превратив в объекты наших антропо-, социо- и аксиологий, искусство-знаний, религио-ведений. В *гуманитарном* – касающемся человека – познании разум не отвечает познаваемому, не несет ответственности за его исторические недоразумения, он занимает позицию божественно безответственного теоретика и/или универсального игрока практиками «себя». В ответ все сферы так называемой культуры смиренно свертываются в свои человеческие, слишком человеческие игры, они освобождаются от интеллектуальной – общезначимой, всемирно-исторической – ответственности за наше общее бытие. Наука уводит мысль в разбор машины, чтобы техника собирала затем свои машины. Искусство уводит мысль в мир своих произведений, устроенных по внутренним законам их композиций, производящих свои «впечатления». Политическая ответственность за происходящее ложится на мораль, к которой и наука, и искусство готовы снисходительно прислушиваться, но чьи императивами они, конечно, и не думают руководствоваться в своих делах. У науки есть своя этика, у искусства – суждения вкуса.

III. Кризис и критики

Сегодня в Киеве затишье. Позволю себе отвлечься еще дальше.

В предыдущем фрагменте нетрудно было распознать тему заметки М. Бахтина «Искусство и ответственность».

Мы не замечаем опасностей, которые скрываются в риторике «прекрасного и высокого». Красота, в которую ходят, как в парк, чтобы отдохнуть, насладиться зрелищами и гармониями, чтобы отмыться ее вечностью от грязи времени, – такое платонистское возвышение в «мир искусств» не оставляет грязную жизнь внизу, а делает ее безобразной и пошлой. Мы не замечаем, что риторика спасительной силы культуры сама оказывается пошлой чертой опошленной ею жизни. Более того, когда художник художественно описывает ужас, которому стал свидетелем, в котором участвует, он не замечает, как ужас бесчеловечности, перемещаясь в мир прекрасного, становится эстетически значимым, человечески приемлемым ужасом. Об этом Т. Адорно: «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование»*. Но ни ГУЛАГ, ни идущая сейчас в Украине война на уничтожение не достигают наших возвышенностей, особенно если эти возвышенности еще и окутаны моралистическим туманом. Мы не замечаем, как «величие», которое мы, недолго думая, по старой памяти приписываем творчеству «великих», превращается в алиби и индульгенцию их соучастия в преступлениях государства, которое их содержит. Не случайно жрец Аполлона меж людей ничтожных мира всех ничтожней. «Мир лежит во зле», – цитируем мы апостола** и не замечаем, как сами кладем его туда.

* Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 328.

** 1 Ин 5:19.

«Искусство и жизнь не одно, – заключает Бахтин свою заметку, – но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности»*.

И вот перед нами жизнь во всей своей действительной нешуточности: война. Беспредельно жестокая, попирающая человеческое достоинство, уничтожающая война. Интеллектуальная ответственность означает: все достоинство твоего дела, твоей жизни измеряется отныне характером и степенью твоего участия в этой войне. Здесь испытывается, что чего стоит, в чем его неприкосновенная «чтойность» («аксиос» по-гречески – «достойный»: чего стоят твои ценности, какова твоя аксиология).

Но ведь то же самое можно сказать и о науке. Тем более что она своими открытиями, изобретениями и всей современной техникой не только прямо вторгается в жизнь, но и занимается ею, организует, направляет. Более того, идущая война – война техническая, противоборство техники, то есть овеществившейся научной мысли. Ответственность за это энергичное и преобразующее вторжение должна быть очевидной.

Сегодняшняя «Критика практического разума» должна бы изменить смысл «практического» на «научно-технический» и поставить на место «ноуменальной свободы» могущество знающего и умеющего. Роберт Юнг в своей книге «Ярче тысячи солнц» рассказывает, что Энрико Ферми, участвуя в подготовке первого испытания атомной бомбы в Аламогордо 16 июля 1945 г., будто бы говорил коллегам: «Не надоедайте мне с вашими терзаниями совести! В конце концов, это – превосходная физика!»**. Правда, при виде выращенного с его участием гриба все-таки ужаснулся. Чему же, вот вопрос. Чувство ответственности за что заставило его поежиться?

* Бахтин М. Искусство и ответственность // Собр. соч. в 7 т. М.: Русские словари, 2003. Т. 1. С. 6.

** Юнг Р. Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках. М., 1961. С. 171.

У Канта «практика» понимается в старом смысле человеческого поведения. «Критика практического разума» анализирует его возможную разумность – этико-правовую конституцию. И вот мы видим, что научно-техническая практика отнюдь не заменяет, не вытесняет кантовскую практику ответственной свободы и самосознания человека – практику этической вменяемости. Кнопки и курки нажимают люди, все прочее сделает физика. Современная война – это война разумных машин, крылатых ракет, сверхмощных бомб, беспилотных камикадзе... Это кибервойна, IT-война... Но с двух сторон эта физика, техника и кибернетика вписывается в этику, встраивается в человека: человек нажимает кнопку, и масса людей – вовсе не только солдат – гибнет. Между нажатием кнопки (где-нибудь на берегу Каспийского моря) и массовой гибелью людей в Краматорске, Виннице или Львове нет, кажется, никакой связи, но сообразить, что связь есть, не так трудно. Впрочем, говорят, что ненадежную, субъективную, обремененную моралью мысль несовершенного человека со временем можно будет заменить интеллектом искусственным, просто рассчитывающим траекторию по заданию генерального штаба. Человек со своим совестливым сознанием отодвигается в дальние закоулки Машины и освобождается от ответственности за то, что делает Машина с людьми на другом ее конце. *Nothing personal!*

Вместе с тем война машин остается войной людей, местом решающих событий, но также и решающего суда. Это кризис – решающий, различающий суд – человеческого существования.

Мы вспомнили Канта. А ведь его «критики» могут служить симптомом, может быть, даже диагнозом переживаемого «кризиса». 7 мая 1935 г. Э. Гуссерль прочитал в Вене доклад под названием «Философия в условиях кризиса европейского человечества». Речь шла о странном субъекте: «европейское человечество» или «европейская культура». Потом, в книге*,

* Э. Гуссерль «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология».

речь пойдет о «европейской науке», которую Гуссерль понимает философски широко, именно как форму предельно ответственного (радикального) понимания, разумения. Он говорит о науке, научности, имея в виду именно ответственность интеллекта. Здесь средоточие кризиса всей современной культуры, привлекаемой к ответственности, а соответственно, и современного человечества, представленного Европой. Ответ философии, то есть воли к интеллектуальной ответственности человека за свое бытие, Гуссерль видел в своей феноменологии. Как бы там ни было, именно философию Гуссерль понял (по-платоновски припомнил) как мышление в ответственности, как мысль, отвечающую в кризисе, на суде (с которого ведь, как мы знаем, все и начиналось). Так в чем же суть кризиса, в который попало европейское человечество?

Вот тут и стоит вернуться к Канту.

У Канта три критики... Философия на пути к построению своей разумной метафизики (универсального ответа) критически различает три различных сферы, три способа «применить разум»: чистый разум познания, продумывающий условия, при которых данность чувственного опыта может быть раскрыта в системе суждений и стать предметом знания – всеобщего, объективного, необходимого, – мир *природы*; практический разум этики, который свойствен существам разумно решающим, вменяемым, ответственным, – мир *свободы*; и еще одну сферу, столь же априорно первоначальную, – способность суждения, для которой нет теории и нет нравственного долга. Эта способность, взятая отдельно, конституирует *эстетику* как самостоятельную сферу культуры, но также еще и сферу телеологического мышления, мышления в модусе «как если бы».

Я не собираюсь здесь входить в бесконечные подробности и тонкости (хотя там-то вся суть дела). Показательно (как

симптом) это разделение в началах, корнях разума. Есть мир, представленный в теоретической экспериментально-математической науке с априорным схематизмом своих понятий и категорий. Есть иной мир – мир практического разума человека (сомневающегося, размышляющего, выбирающего, решающего) – сфера морального долженствования, базирующаяся ровно на том, что логически не может попасть в сферу теоретического разума: автономия свободной причинности и нравственно-правовые законы этой автономии. Наконец, еще третий мир – способность свободных эстетических суждений, суждений вкуса, не необходимых, как в науке, не категорических, как в этике. Это тонкие суждения собеседников в салонах, на вернисажах, за кухонным столом (более привычным нам)... Незаинтересованное, необязательное удовольствие от игры изысканных вкусовых рефлексий.

Итак, перед нами наука, озабоченная доказуемыми истинами и законами, проверяемыми на опыте, но этически безответственная, хотя, возможно, со своей внутренней этикой (правила дискуссий, долг доказательств) и эстетикой (красивая теория, изящный вывод). Затем эстетика, свободная как от истины, так и от морали. Своеобразный этический лозунг этой эстетики: «Мир может быть оправдан только эстетически», как *Gesamtkunstwerk*. Ну и отдельно этика, которая не следует ни из природы с ее законами, ни из красоты, терпящей любое зло, лишь бы оно вписывалось в картину или разрешалось в результирующей гармонии.

Трудность в том, что эти сферы или грани культуры, различенные Кантом как первоначальные, на деле вовсе не распределены по отсекам. Ученый, конечно, обладает гражданскими правами, а вечером может пойти в оперу, но для науки с ее техникой предметом объективного знания, то есть законной «природой» – психологической, социологической, культурологической, – будет все, на что упадет внимание «чистого разума» науки, а вовсе не только естествознание.

Эстетическое суждение возведет свою способность во всеобщность эстетического мифа (в романтизме, у Шеллинга, в символизме).

А вот этическое самосознание разумного существа, как вменяемого, лично ответственного, не позволяет ни решить эту единоличную ответственность, как решают уравнения в объективных теориях, ни разрешить ее в соборном хоре эстетического мифа. И уж подавно не отменить личную ответственность ни романтической религией творчества «культурных ценностей», ни службами в секулярном храме, именуемом Культура. Тем не менее мы каждый день видим, какими надежными убежищами служат храм Науки и храм Культуры для беженцев с фронта этической ответственности, хотя никто, кроме химеры совести, на этом фронте не стреляет.

Этическая ответственность адресована лично мне. Это не бытие *ego cogitans* – ответственного автора научной мысли, это не ответственность автора-художника за то, что творит его творение с людьми. Этическая ответственность обращена лично ко мне и впервые вызывает на свет, на суд это «лично я», автора самого себя, который не числится ни в социальных науках, ни в эстетических мифах, но который вызван к бытию ответственностью, причем ответственностью за себя-ученого, себя-художника, себя-верующего. Только этическое самосознание вызывает на суд меня единолично и вменяет мне ответственность в форме персональной вины, игнорируя мои способности познавать или сочинять. От самосознания и самосоздания этического строя, моего этоса я не могу скрыться ни в беспристрастной объективности ученого, ни в принципиальной безответственности артиста.

Но как же я тут отвечаю, чем же думаю, что делаю на суде с самим собой? Какой может быть *общезначимая* практика *персонального* этоса?

Если от Канта мы вернемся к его началу, к Декарту, то, возможно, мы заметим, что знаменитое картезианское *ego* вызывается к бытию совсем не *cogito* познания, а вот этим *cogito* – самосознанием личной ответственности за истинность мысли. Именно это – этическое – самосознание ставит сомнение выше любого знания и обнаруживает интеллект как ответственность за самого себя.

Есть ведь не только те сферы, которые критически различает Кант, но и сам Кант, его разум, различающий разные разумы: чистый (теория), практический (этика) и эстетически судящий (искусство). Различающий, стало быть, не тождественный ни с одним. Как же относится сам критик к неизбежному кризису такого раскола? В пределах какого разума происходит этот раскол на Истину со своей Красотой, но вне Добра, на Красоту вне Истины и Добра, на Добро – вне Истины и Красоты?

IV. Интеллект благоустройства

О доблестях, о подвигах, о славе...

А. Блок

Кант показал нам, что истинное знание, моральный закон и эстетическое суждение – разные сферы, как-то и где-то, видимо, сообщающиеся, но на выходе как бы ничего друг о друге не знающие. Наука не гневается, не презирует, а понимает законы и показывает, как все действительное – включая и войны – разумно. Художественное творчество схватывает в своих произведениях трагическую (или гротескную) симфонию «прекрасного и яростного мира». Между ними бродит назидательная мораль, своими императивами и долженствованиями она обращается к чувству собственного ноуменального достоинства человека, пока не рассыпается в пост-этической прагматике пост-модерна. Замечу, однако, на будущее: я утверждаю, что террористическая война России ведется против того, что составляет средоточие кантовской этики, – неприкосновенного достоинства (персональной автономии) человека. Именно оно невыносимо для нынешней России, а Украина «революции достоинства», сражающаяся за достоинство своей политической автономии, – первый враг.

Но если этот экзистенциально-этический оборот дела теряется на фоне научного исследования или эстетического оправдания, может быть, это разделение человеческой культуры на три сферы, соответственно, три способа «применения» единого разума – ошибка Канта и стоит вспомнить древний идеал цельного знания, где истина, добро, красота, а вместе с ними и человечность (*humanitas*) человека – одно?

Понять единство истины, добра и красоты очень просто. Незачем смотреть наверх, надеясь в озарении увидеть это сияющее триединство. Для нас то сияние, которое там, слишком

ослепительно. Достаточно просто прислушаться к словоупотреблению. Мы говорим «добро» и думаем о добром поступке доброго человека. А можем ведь сказать и «добрый конь» или даже «добрая табуретка». Стоит только вспомнить «добротность». Добрый конь, всем коням конь, настоящий конь, истый. Вот вам и истинность – истовость, настоящность, – звучащая в добротности. Добротный стол, правильный, справжний* – стол, всем складом и видом отвечающий назначению стола, его замыслу, идее. Вот, собственно, видимый облик платоновской идеи. Это не наши идеи, толпящиеся в голове, а мастерские замыслы, воплощенные в совершенном произведении (правда, раз воплощенные, то уже не совершенные).

Стол, годный быть столом. Он годится, он пригожий... Ах, девушка пригожая не потому, что хорошенькая, а потому, что годна быть тем, кем быть задумана. Как и добрый молодец. (А кем они задуманы?) Красота, говорит Платон, не завитушки живописцев, не звуки сладкие, а линейки, треугольники и измерительные инструменты архитекторов. «Красота, – вторит поэт, – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра»**.

Тут стоит вспомнить еще один смысл добра: майно (укр.) – имущество, состояние, достояние, то есть все, что нужно мне в моем хозяйстве, чтобы быть. Теперь попробуем представить, что весь мир тоже хозяйство. Кто (или что) хозяин? Все вещи служат чему-то, а мир уже ничему не служит, он просто есть.

Вот оно – бытие мира – во всей своей добротности, истинности, красоте.

Вот оно – хозяйство бытия. Все там есть по-настоящему, истинно есть в своей мере – в своей форме, на своем месте, в свое время. Все тут по-настоящему добротнo слажено-прилажено,

* Настоящий, подлинный (укр.).

** О. Манделштам «Адмиралтейство».

годится в самоцельном бытии бытия. Все есть, поскольку понятно, и понятно, поскольку есть в этом нарядном порядке (косметика лучше, чем космология, знает, что значит греческое слово «космос»).

Вот он – чистый разум, интеллект не наших домыслов, а, кажется, самих вещей. Мы нашли не наш, а сам космо-логический интеллект. Он совершенный, повсюду равный самому себе, иначе останутся неясности. Мы поняли, что значит понять: найти место понимаемому в этом нарядном порядке наилучшего. А где же война? Как же она вообще возможна в таком добротном строении всего? Тем более если это не гераклитовское сражение, которым все схвачено «крепче двух друзей», а вот эта, происходящая сейчас война уничтожающего *ничто* против простейшего домашнего добра в котомке беженца, а в нем – против самих добра-красоты-истины. Такая война оказывается в так понятом мире – или в мире так понятого понимания – принципиально непонятым событием. Она опровергает наше цельное понимание, она указывает на что-то упущенное нашей идеей понимания как тождества истины (понятости), добра и красоты. Вместе с чудовищем такой – этой – войны на горизонте появляется нечто изначально лживое, злое и безобразное.

«Что за манихейство?!» – воскликнут знатоки (заглянем в «Википедию» и узнаем: это дуализм, там некий злой «мрак» активно борется с добрым «светом»). «Это так выглядит для человека, это всего лишь происшествие в человеческом мире, – утешат метафизики, – в целом же все, как всегда, к лучшему». А мы скажем: нет, этот блаженный космос («свет») – всего лишь сам самодовольный интеллект, мыслящий самого себя и изображающий из себя само бытие. Интеллект столь же самодовольный, сколь и безответственный, со всеми своими теодицеями, со своим спинозистским хладнокровием (не рыдай, а понимай), с лейбницианским благодушием («все к лучшему»),

с гегельянским шествием одностороннего поначалу разума человека к тому самому тождеству всесторонне знающего себя разума самой действительности...

Нет, ответим мы, интеллект – так, в такой идее понимания понятий интеллект – этим безответственным благомыслием не оправдывается, а опровергается. Он не способен ответить на вопрос, уничтожающий его благомыслие, – вопрос, под который ставит его война, такая война, не мотивированная какой-нибудь привычной человеческой корыстью, а просто античеловеческая, потому и квалифицируемая человечеством как преступление против человечности (*humanity*). Это война редкостная по сочетанию беспредельной жестокости и полной бессмысленности. Она упростилась до универсалии: зло против добра, огромная машина уничтожения против простого домашнего добра. В домашнее добро с кошками уместилась вдруг вся добротность, истинность и красота бытия. Вот он, микрокосм разума. А против него – *ничто*, просто *ничто*, которое никто не признает. «Ну так теперь признаете!» – говорит *ничто* и учиняет то, что только и может, – бесчинства и уничтожение.

Нет, видим мы теперь: *ничто* – ложь, зло и безобразие – во все не недостаток или порча бытия, это сила, это могущество – могущество массового уничтожения. Тогда самоочевиден и ответ: добротное бытие отнюдь не законченная тотальность хорошо сколоченного мира, исполненного истины и красоты, а вот эта самая котомка беженца, который нуждается в защите от уничтожающего *ничто*. Ответом бессмысленному уничтожению может быть только безусловное, хорошо вооруженное сопротивление и безусловное непризнание со стороны человечества. Безусловное непризнание, заключенное в хладнокровной, ни в чем не прощающей, ничего не оправдывающей *ненависти* ответного уничтожения. «Совершенною ненавистью возненавидел я их: враги они мне» (Пс. 138:22).

Хочу привести здесь строки поэта, волонтера, солдата и моего друга Дмитрия Шандры:

Я пишу и от ненависти светло в глазах
 я пишу и от ненависти тепло струится по венам
 я ненавижу так, что каждая птица поет – убей
 цветы распускаются смертью и пахнут тленом
 и если ангел увидел бы
 то в ответ закричал бы – убей

Уничтожение уничтожающей силы *ничто*. Без-условное. Без всяких объяснений и пониманий. Когда под угрозой не что-то спорное в бытии, а само бытие – мое, наше, общее, – истина бытия, его добротная годность быть, не дана в нерушимой надежности наличия, его добротная истинность измеряется силой сопротивления, которое оно готово оказать, никоим образом не признавая, не принимая уничтожающее *ничто* в свой мир смысла, не объясняя его тьму.

Нам представляется Армагеддон, но противоборство – проще некуда: пустота *ничто*, существующего, однако, в виде оружия массового поражения, и простота утлого быта, в который – вместе с домашними животными, домашним скарбом – укрылось само бытие. Когда перед нами не битва воинов, не сражение полководцев, а покушение бессмысленного железа на заурядное бытовое бытие, домашнее добро в его насущной истине и смиренной красоте, – тогда на защиту поднимается молчаливая, без оговорок и объяснений, ненависть, которая вразумительнее всех пониманий. Отказ понимать уничтожающее *ничто* умнее, понятнее – ответственнее – торопливых экспертов аналитик и расчетов, политологий, конспирологий, тео- и космоидей.

Нет, задачка тут посложнее оправдательных теодицей. «Точка зрения вечности» тут не поможет.

Мир в своей добротной истинности отнюдь не покоится в завершенной вечности и заранее оправданной целостности.

Его значимое, осмысленное бытие ничем не обеспечено и может быть уничтожено, как только исчезнет – или утратит интеллект – сознающее его существо, человек. Осмысленное бытие подлежит обороне от *ничто*, более того, его приходится отвоевывать у *ничто*, могущего уничтожить или просто лишать смысла. Мы стоим вертикально в поле тяготения, мы существуем осмысленно в поле размывающей бессмыслицы, мы существуем, сопротивляясь уничтожению. Но и само бытие таково, посмотрите: каждый камешек держится своими тайными силами, чтобы не рассыпаться, травка прорастает из-под асфальта, потому что быть растением – значит расти.

Мы верили Пармениду, что бытие есть, а небытия нет, мы прочитали Платона по-парменидовски, как будто он не писал ни «Софиста», ни «Парменида», не показал, как бытие буквально пронизано *ничто*, как оно ускользает на каждом шагу вместе с истиной и добром, так что их приходится добывать, вылавливать, спасать от поглощающего *ничто*.

«Бог сотворил мир из ничто. Ничто, однако, повсюду сквозит» (П. Валери).

Сила сопротивления питается усилием осмысления, отвоевыванием смысла у бессмыслицы, истины – у лжи, обмана, ошибки, лукавства... Ответственный интеллект оправдывается не самодовольным соответствием бытию: основание бытия – то же самое, что и основание знать. Понять вроде бы значит признать, пусть не простить (дело субъективное), но объяснить (иначе-де и быть не может – дело объективное). Нет, ответственный интеллект оправдывает себя, не совпадая – пусть хоть в идее – с бытием, а возвращаясь на свое собственное место – вопрошателя и ответчика.

Там, где ему мнился ответ и, казалось, остается только мыслить самого себя в вечном самоподтверждении, там, на границе с *ничто* (которого нет, вечно уговаривал себя ум), ведутся его сражения с *ничто* и с самим собой. Не что иное, как

мысль, ум, интеллект, проводит границу между истиной (соответствием бытию) и ложью. Не что иное, как мысль, может и оспорить это предельное основание. Мыслить себя означает ведь не только подтверждать, но и обосновывать, а обоснование оснований – дело парадоксальное. Ответственный интеллект не замыкается в самодовольстве (всегда подозрительном) рациональной метафизики (всегда замыкаемой какой-нибудь иррациональной затычкой), а открывается к бесосновности, к возможности быть иначе. Интеллект, оспаривающий свой мир, допускает иной. А это значит, он открывается во внимании к откровениям времени.

У мира, открывшегося в мировых революциях и войнах XX века, странная онтология. С одной стороны, техническое всемогущество, с другой – холокост, то есть индустрия уничтожения, массово уничтожающие лагеря, геноциды, голодоморы, наконец, угроза уничтожения вообще всего предприятия под названием «человек» и вот это разверзающееся сейчас в Украине событие уничтожения – все это открывает присутствие какого-то воплощенного *ничто*, до сих пор скрывавшегося в «несовершенствах» бытия или под масками чертей. Это открытие ставит перед интеллектом вопрос потруднее бывших. Допущение не иной возможности быть и мыслить, а какого-то странного бытия: невысказанного, недопустимого, непростибельного, ненавистного, однако – вот оно: взрывает, разрушает, уничтожает и больше ничего. Больше ничего.

Вопрос о недопустимом предполагает в качестве ответа отрицание: видеть ненавистное, не устраняя его ненавистности, а уничтожая, иметь дело с непростибельным, не оправдывая его, не встраивая в интеллектуальный космос, а отрицая. Иначе говоря, разумеешь то, что отрицает разумность, не переводя это отрицание какой-нибудь хитрой диалектикой в положительное разумение. Уничтожение уничтожающего – это вам не отрицание отрицания.

V. Свидетель и судья

Что нам философия? Что нам Платон, Кант, Гуссерль, истина, добро, когда Буча, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Изюм, Волноваха... война?!

Война эта не обычная. Война-террор. Не только для захвата территорий, а против самой независимости, достоинства и человечности человека: если не уничтожить, то сломать, пусть просят пощады. Война «русского мира» – это война не только против самостийной Украины, это война против самостийного человека что внутри самого «русского мира», что вне – Украина просто ближайшее и раздражающее (так умный диссидент, например Владимир Альбрехт (погуглите), на допросах приводил в бешенство тупого опера – почитайте «Андеграунд» Маканина). Война России против Украины – это война расчеловечивания против человечности. Сознательно лживая этикетка «денацификации» скрывает действительную цель – дегуманизацию.

Тут два вопроса.

Первый: что же это такое, самостийная человечность человека? Нет, не божественность, а человечность, воплотившаяся для нас сегодня в обитателях укрытий, в беженцах, выброшенных из своих жилищ, в искалеченных, убитых. Их уже более пяти миллионов. Вспомним также, что вся Европа давно уже наполняется беженцами разного происхождения, так что не беженцы, а, скорее уж, обитатели благополучных кварталов и коттеджей оказываются маргиналами эмигрантских палаточных лагерей и бидонвильей. Европа переживает нечто похожее на новое переселение народов.

Второй вопрос: как же это человек допустил, нет, хуже – создал, вырастил в себе «ничто», уничтожающее всякое «что» и «кто», не только ведь чужое, но и свое собственное, свою человечность? Оставим ангелов и бесов поэтам и спросим: неужто

это «ничто» тоже как-то встроено в «что» человека, в его человечность? Как же тогда быть?

Вот ведь как стоит вопрос, на который требуется ответ. Именно война на покорение, унижающее вплоть до уничтожения, требует ответа: что же сопротивляется этому воинствующему нигилизму? Да, жизнь, но не только, что-то еще.

Услышать – среди взрывов и плача, грохота танков и разногласного шума СМИ – эти вопросы, услышать категорическое требование понять, ответить – вот ведь в чем ответственность интеллекта на этой войне.

Кто же, что же поможет нам ответить? Наука? Искусство? Этика? А что это за образования, занятия, дела? Вспомнив Канта, мы спросили: как это случилось, что заботы человека о себе и мире, а соответственно, работы человека в мире и с собой распались на разные – и, кажется, взаимоисключающие – «сферы» (и множество других, производных)? При чем каждый профессионал замкнут в своей сфере-монаде и посмеивается над соседями-недотепами.

Наука деантропоморфизует мир, бесстрастно изучает объективную машину (космоса, истории, социума, психики), оставив субъективные страсти поэтам и моралистам. Нет ли прямой дорожки от деантропоморфизации мира к дегуманизации людей в лагерях? Разделение на человека-машину и человека-теоретика, человека-пациента и человека-терапевта... не таит ли в себе разделение на объект манипуляций и манипуляторов? Наука отвечает на вопросы научно. Оставьте споры, лучше посчитайте, советовал Лейбниц. Один субъективный человек перед другим человеком – это человеческие отношения; миллионы, перевозимые, как груз, свозимые в лагерь и массово уничтожаемые, – это объективные числа, статистика. Спросите Эйхмана или Гесса, Ежова или Берия.

И вспомним: позиция теоретика – это позиция зрителя, наблюдателя. Объективная истина говорит:

«Я бытия все прелести разрушу,
 Но ум наставлю твой;
 Я оболю суровым хладом душу,
 Но дам душе покой».

(Е. Баратынский)

Искусство, со своей стороны, вслушивается в музыку войн и революций, созерцает и творит эстетические мифы своих утопий. Впрочем, сегодня место мифов занимают игры. Есть и то, что зовут культурой «культурные люди»: библиотеки, музеи, консерватории, театры... Культурным людям кажется: люди почитают, послушают и станут культурными, а культурный человек убивать и насиловать не будет.

Мораль, понятно, морализирует, но кто же ее слушает, когда, с одной стороны, объективная трезвость наук, а с другой – артистический *amor fati*?

Ну а религия, будь она в пределах только разума или в церковных приделах, тоже зовет к себе, в свои храмы, где все ответы даны раз и навсегда и остается слушаться.

Одна философия не находит себе места, бродит, как божж или беженец, среди обжитых профессионалами сфер-монад – среди объектов наук, изделий искусств, моральных поучений и церковных стен – и должна держать ответ в одиночестве. Временами она растерянно пытается предлагать свои услуги то религии, то науке, то политике, надеясь на их авторитет. Временами вспоминает, что она сама не лыком шита, а как-никак всеобщая (*generalis*) мета-что-то-там: мета-физика, мета-космология, мета-антропология, мета-аксиология, мета-психология... Порою ей приходит в голову, что мета-неуместность и есть ее собственное место. Нет, это уже не наблюдательный пункт генерализаций, не место полководца, взирающего на поле боя с некоего миро-воззренческого холма. Неуместность философии где-то здесь, но не в царстве и не в храме, а где-то *между* оседлыми и обжитыми местами и

временами. Переселение, кочевничество (справиться в номадологии Делеза), трансформация идентичности, трансгрессии – это и есть собственный образ мысли (возможно, и жизни) философа. Философия находит себя в положении простом и отчаянном: ей одной надлежит держать ответ на изначальный и, возможно, последний вопрос, под который человека ставит нигилистическая война – война, нацеленная на уничтожение человеческого достоинства.

Кто ты, чтобы всеми силами сопротивляться уничтожению? Зачем? Ведь хотя «мир во зле лежит», но физика останется физикой, гармонии сфер не разрушатся, прощальные симфонии и реквиемы уже услышаны и написаны, а из моральных штампиков мы давно выросли. Бог же сам знает, что делает. О чем же битва?

В одной из записей, относящихся к 1970–1971 годам, М. М. Бахтин говорит: «Свидетель и судия. С появлением сознания в мире... мир (бытие) радикально меняется. Камень остается каменным, солнце – солнечным, но событие бытия в его целом (незавершимое) становится совершенно другим, потому что на сцену земного бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо события – свидетель и судия»*.

Глобальная война на уничтожение ставит не менее глобальный вопрос о существовании. Вопросы, именуемые метафизическими, растут отнюдь не из праздного любопытства, а, напротив, из глубочайшей тревоги, и эту тревогу пробуждает, делает явной тотальная угроза. Кажется, речь идет всего лишь о существовании человека, но не трудно понять, что без человека существование вообще лишается смысла.

Конечно, существующее – мир, который мы называем «внешним» (хотя принадлежим ему всеми потрохами), необъятное мироздание – было и будет без человека, смешно

* Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 360.

сомневаться. Более того, с точки зрения Вселенной видно, «каким жалким, каким призрачным и мимолетным, каким бесцельным и произвольным исключением является в природе человеческий интеллект. Были целые вечности, в которых его не было; когда снова кончится его время, от него не останется и следа. Ибо у этого интеллекта нет какой-либо длительной миссии, выходящей за пределы человеческой жизни»*.

Заметим только, что этим – уничтожающим – взглядом Вселенная смотрит на жалкий интеллект человека изнутри интеллекта одного из жителей Земли, жалкого, болезненного человека, укрывшегося в швейцарском поселке Зильс-Мария.

Какими пустыми и никчемными, можем мы ответить Ницше, были и будут эти вечности и бесконечности, атомы и пустоты, черные дыры в космосе и цветочки на лужайке в отсутствие внимания человека, его сознания и интеллекта. В сознании человека все эти бессмысленные бездны не возникают (оставьте, наконец, им их независимое существование!), но тоже как бы приходят в себя: они привлекают внимание, обретают смысл. Иначе ведь что ж? Никому не интересные камни, поля, волны, звезды и бог или черт его знает какие еще существа и взрывы. Они лишены важного качества – значения, смысла. Все в мироздании и оно само обретает смысл только в присутствии человека. Причем каждого, ибо не каждого человека не бывает. Человек – вот, например, Фридрих Ницше – называет, описывает, охватывает мироздание умозрением, смотрит на самого себя *своим* уничтожающим взором. Все вещи как бы просыпаются и глазами этого человека открывают свою всестороннюю несоизмеримость с человеком вообще. Необъятное со всеми вечностями до и после человека – вот оно: явилось, пришло в себя, когда пришел в себя, в судящее сознание «мыслящий тростник» по имени... Паскаль, Лейбниц, Ницше.

* Ф. Ницше «Об истине и лжи в аморальном смысле». Цит. по: Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М.: Изд-во ЦПР МГП ВОС, 1994. С. 41. Пер. с нем. И. А. Саца.

А иначе – есть ли, нет ли – все равно. Не имеет значения. Оно существует, конечно, со всеми биг-бэнгами и струнами, но... не имеет значения. А вот в чем-то, именуемом сознающим восприятием, мыслящим вниманием, все сущее приобретает дополнительное «качество» – значение, смысл. Именно в этом качестве оно, со своей стороны, занимает, наполняет сознание, душу, ум. Все сущее становится интересным, удивительным, загадочным, страшным, восхитительным, опасным, дружелюбным, полезным, вредным... Из сущего извлекаются (изобретаются) орудия, их наделяют могуществом, возникают сюжеты возможных повествований, сообщений, исследований, фантазий, суждений и умозаключений. Возникают сюжеты общений, рассказов, возникают истории, возникает история... Возникает не когда-то, а сейчас: в событии судящего здесь и теперь сознания, в смысле, например, «давным-давно», в значениях бывшего, предстоящего или настоящего. В значениях «вечного» (но сейчас и так-то), «потустороннего» (но здесь и такого-то), «бессмертного» (но пока душа сознает и животворит смертное тело) – везде, когда и где происходит сознание и мысль.

Итак, мысленный эксперимент с уничтожением человечества показал нам нечто важное. В присутствии свидетеля все существующее, помимо существования, приобретает еще и значение. Да и просто само существование чего бы то ни было вообще приобретает значение: оно, существование, не просто есть, а что-то значит, о чем-то говорит – остается расслышать. Услышать же мы можем рассказ.

Трудность в том, однако, что и бессмысленное существование существующего никуда из сознания не девается, оно приобретает значение бытия, значения не имеющего, и в этом качестве не только присутствует *для* сознания (теоретического), но и участвует в жизни сознания и в самосознании, как вот тот ницшевский взгляд на нас со стороны мира вне нас, взгляд на человека из мира без человека.

Более того, с точки зрения бытия, вне и без нас существующего (но без нас значения не имеющего), сами-то мы – сознание, мышление, переживание, все «наше» хозяйство – тоже ведь что-то «вне нас» и «без нас». Насколько наше душевное или умственное «нутро» приобретает – под объективирующим взглядом – черты объективных механизмов, настолько же... оно теряет значение. Крутятся какие-то нейросети, все те же электроны, сигналы, умные протезы, искусственный интеллект... Звезды возникают и взрываются, войны разражаются, народы переселяются... Какая разница?

Так с чем же связана эта разница? В каком смысле нигилистическая война, о которой речь, может быть понятной (социологически, политически, психологически), но недопустимой? Да, она недопустима морально, скажет политаналитик, но неизбежна, ничего не поделаешь.

Впрочем, это еще только половина открытия. Другая заключается в том, что значение для каждого человека – свидетеля и судьи мира – имеет *всё*. Всё его касается, он мыслит потому, что сразу затронут всем. Не только тем, что задевает его в своем мирке, где он обитает и действует, в существовании которого дает себе отчет, о котором что-то знает, думает, о котором составляет представления, который познает как может, относительно которого строит теории, в котором как-то и сам устраивается жить-обитать со своими историями и намерениями, – а *всем*. Не только что-то соразмерное ему в безмерном мире, а всё, включая то, о чем мы ведать не ведаем и ведать не можем, – всё со всеми безднами и закоулками каждого из нас по-своему касается.

Если мы назовем это всё «физикой» – нет, не то, что мы называем Природой или Вселенной и что изучает наука физика, а все, что просто (!) есть (было и будет), неважно, знают о нем или нет, – тогда мы нашли, о чем мета-физика. Она о том всем, что касается нас в средоточии нашего собственного мыслящего

и само-сознающего бытия. В средоточии, то есть там, где оно – наше собственное бытие – тоже *всё*. Там, где *всё* обретает значение или теряет его, потому что значение не натуральное свойство вещей, но и не вещественное свойство сознания.

Кончиться все может сразу и внезапно, на нет и суда нет, но кончиться оно может двояко: как событие в мире (о котором Ницше) или как *ничто*, коснувшееся сознания. Два олицетворения нигилизма и два проекта всемогущества – позитивный нигилизм реалиста Базарова и негативный нигилизм идеалиста Раскольникова. Оба романа написаны в 60-х, почти одновременно. Вот эти случаи, могущие приключиться с мыслящим тростником, нас и касаются.

VI. Война против интеллекта

Ум видит, ум слышит, все прочее слепо и глухо.

Эпихарм

Интеллект – это попытка понять. В отличие от присущей всем способности соображать, промышлять и рассчитывать, интеллект определяется и руководствуется идеей самого себя: спрашивает, что же значит *быть* понятным, и заранее отвечает на него идеей – прообразом – понятного («умного») мира. Понять – значит благо-устроить, усмотреть, выяснить мир в его устроенной понятности. *Illud habet intellectum* значит: «Это понятно». Латинское *intellectus* – от глагола *intellego*: *intel* (=inter – между) и *lego* (*собираю*), что-то вроде «собираю, разбираюсь». Аналогичен семантический строй у греческого *syllago*, *собирать* (того же корня и *logos*).

Не только греческое «космос» значит *порядок*, но и русское «мир» значит *согласие*, согласованность. В разборчивый собор – интеллект – мира можно встроить и сражение, противоборство, судебную тяжбу (вспомним *полемос* Гераклита).

Но вот есть война, не встраиваемая в мир, война против мира в его понятном складе – интеллекте. Война не за место в мире, а на уничтожение мирности мира.

Война на уничтожение мира не обязательно ядерная. Россия, «русский мир» отвергает саму идею мира как нормально-го состояния живущих на Земле (какой-то пророк «русского мира» намеренно так и сказал: «Национальная русская идея – это война!»). Россия не умеет существовать в сложном хозяйстве мира – экономическом, политическом, дипломатическом. Ее нормальное состояние (*status quo*) – это состояние войны (*status belli*). Не мир ставит Россию в положение изгоя – она сама отвоевывает это положение, причем не только вне мира, но и против мира, против его согласованности, против его

космо-логического и коммуникативного интеллекта. Война, развязанная Россией, пока еще не мировая, но против мира. Нет, не против НАТО, не против Запада, а против мира как формы согласного существования «человеческой семьи». Эта война – по замыслу – преступление против человечества.

Катастрофа, развертывающаяся у нас на глазах, затрагивает всех. Люди каким-то образом допустили преступление, которое иначе как преступлением против человечества назвать нельзя (и это не метафора). Не надо мне напоминать про историю набегов, захватнических войн, про холокост, ГУЛАГ, Пол Пота, про Афган, Чечню, Сирию и пр.: дескать, вся человеческая история похожа на преступление, а уж в наше время... Нет, именно эта преступная война – преступление не только против Украины, Европы, Запада, но и против человечества. Тут переступлены не только международные договоры и писанные законы. Террористическое ведение этой «операции» разрушает незримые и неписанные правила в нем – мире – (со)существования. Имперская геополитика, параноидальная жажда делить мир с другими пацанами мне не кажутся достаточными мотивами. Тут сквозит что-то самоцельное, так сказать, бескорыстное. Вот почему угроза ядерного удара кажется вполне вероятной. Это вызов не Западу, а человеческому миру. Знаменитая ухмылка: «Зачем нам мир без России?» – подразумевает также: «Зачем нам Россия без мира?» Это шантаж уничтожением.

Интеллект не может понять это уничтожающее *ничто*. Он и не должен понимать это глобальное отрицание, самодовольный нигилизм. Отношение к России, воюющей в Украине с миром, возможно только одно: отказ ей в понимании. У этой войны нет резонов, нет целей, нет стратегии... кроме самого «нет», преступного (переступающего все, что есть) уничтожения. Именно его мы и наблюдаем в Украине.

Когда люди входят в города, освобождаемые от российских войск, в уме звучит одно слово: нелюди. Но нет, это тоже люди, такие же, как мы с вами, только люди *не*, люди, не просто лишённые человеческого этоса – совести, сочувствия, чести, а намеренно отрицающие его. Их этому учили – во дворах, в казарменной дедовщине, в цинизме придворных «деятелей культуры», реал-политиков и полит-технологов, в растлении пропагандой... Дома их сдерживает страх наказания и больше ничего, здесь же, на территории «врага», им все разрешено, и остается только это «ничего», удовольствие уничтожения всех запретов. Поэтому Россия в этой войне совершает преступление против человечности, против всего, что делает человека человеком.

Некогда зло было определено как странная лишенность, пустота, *ничто* в бытии-добре-истине. И вот оно перед нами, но не как недостаток, а как сила: уничтожающее *ничто*, недоступное, недопустимое и не подлежащее пониманию, то есть встраиванию его – *ничто* – войны в разумный мир.

Эта война разрушает не только хозяйство Украины, но и склад мира – все, что так или иначе собирает мир со всеми его сражениями и распрями в согласие. Широкомасштабная преступная война идет, повторю, против «человеческой семьи», против человечества как сообщества. Я утверждаю, что война России против Украины – это война против мира, то есть против самой идеи мира-согласия-договора.

Говоря просто, это война не только без правил, но и против правил. Война, которая не объявлена как война, то есть не подчинена даже правилам войны (пленные не пленные, оккупация – это освобождение, русификация – это денацификация, украинцы сами уничтожают свои города и свое население, все документы – фейки).

Война была начата в 2014 году не с нарушения договоров, а с отрицания самой идеи договора. Она по ту сторону

различия правды и лжи, она всячески «гибридна»: начатая как оборонительная, будто бы чтобы защитить Донбасс, она разворачивается как захватническая оккупация Украины. Она неопределенная и потому беспредельная. «Демилитаризация и денацификация» означает просто разоружение и уничтожение. Но разве ультиматум, который послужил основанием войны, был предъявлен Украине? Нет, он был предъявлен чему-то, что Россия именует Западом. У этой войны нет стратегической цели. Беспредельная, бесцельная война – это война на уничтожение столь же беспредельное и бесцельное. Эта война не лезет в ворота интеллекта, то есть не встраивается в понятный мир, в мир понимания. Она непонятна.

Иначе говоря, она ставит под вопрос то, *чем* мы понимаем, – интеллект. До сих пор он так или иначе понимал разразившиеся войны – теперь война объявлена ему самому. Может быть, поэтому нас обуревают только бушующие эмоции, мы слышим один крик: «Так нельзя!»

Эта война – отечественная для Украины, но и нечто большее – она мировая, потому что агрессор покушается на мир, на мир-согласие, на интеллект мира.

Или, лучше сказать, эта война ставит под вопрос то, что мы привыкли считать пониманием. Космос-логос, храм-интеллект, машина машин, логика мирового духа, социо-логос, онто-логос – может быть, что-то неладно в этих «консерваториях»?

VII. Бытие против интеллекта

Страшный суд – величайшая реальность. В минуты – редкие, правда, – прозрения это чувствуют даже наши положительные мыслители. На страшном суде решается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души – быть или не быть душе. И даже бытие Бога еще, быть может, не решено. И Бог ждет, как каждая живая человеческая душа, последнего приговора.

Л. Шестов

Ответственный интеллект, кажется, должен все понять и тем самым оправдать. Не юридически (это дело людей), а онтологически, метафизически. Он мыслит в горизонте интеллекта божественного (*intellectus archetypus*): самой истины (основание доказательств), самого добра (основание добротности всего в целом) и самой красоты (образ совершенства, где ни убавить ни прибавить). Ответственный мыслитель – теоретик – мыслит, вооруженный аппаратом теоретической системы и системой экспериментальных аппаратов, в горизонте теизма; ответственный этик не морализирует, а вдумывается в идею всеобщего блага, то есть занимается не морализированием, а политикой, правом, законами и теодицеями; эстетик не делится вкусовыми суждениями, а вдумывается в мир, как если бы он был произведением искусства. Объединяет эти внимания одно – универсальный (хотя бы в проекте) ответ, то есть идея (пусть регулятивная) мирового интеллекта: единая теоретическая система законов природы, всеобщая система права, включая международное (в регулятивной идее «вечно-го мира»), эстетическая разумность мира как произведения искусства (мифическое *Gesamtkunstwerk*). Мысль на разные лады строит себе мыслимые миры, потому что только за мыслимые миры может отвечать. Обитает же мыслящий человек в том мире, который об этих мыслимых интеллектом мирах ничего не ведает. Для честного интеллекта, значит, дело идет о том,

чтобы сообщить выдуманному универсуму реальность невыдуманного, или выяснить, выявить черты мыслимого в ином. Ответственный интеллект испытывает себя – свои мыслимые построения – *на опыте*. На каком же, если под вопросом сам интеллект? Если речь не о познании посторонней «природы», а о понимании того происшествия, что называется человеческим миром?

Можно вообще представить историю человеческого существования в мире как историю опытов на себе и о себе. Интеллект в таком случае будет тем, в чем мысль извлекает этот исторический опыт как общезначимый опыт о человеке, мире, но вместе с тем и опыт о самом себе, понимающем интеллекте.

Может быть, дело интеллекта вовсе не в познании и не в выдумывании чего-то там идеального. В уме человек не только собирает мыслимое в мир, но прежде всего собирается сам в сознании предельной ответственности за свое бытие в мире, где довелось быть, а также и в сознании ответственности за самого себя, за свою дельность, вещьность, даже сверх-мысленную бытийность. Именно эта сложная работа по преобразованию – почти пресуществлению – мыслимого в сущее и сущего в мыслимое называется *опытом*, имеющим в виду *истину*, то есть со-ответствие своего (мыслимого) мира самому миру. Или *несоответствие*. Тогда наш всеобъемлющий интеллект открывает бытие как не-вразумительное, и требуется иная идея истины, иная идея блага. Так озадачивается разум самим собою под угрозой уничтожающего и невразумительного бытия.

Интеллект, ум – это собранность всего себя в собирании всего мира и... вопрос о себе, о способе собирания-понимания, вопрос со стороны невразумительного бытия, заданный себе разумом. Взять на себя бремя предельной (интеллектуальной) ответственности – значит взять на себя ответственность и за свое понимание мира, за устройство понимающего интеллекта (категории, схемы суждений, идеи разума).

Тут две интенции, кажется противоположные и даже взаимоисключающие. Понять ответственно, ничего не упуская, значит с самого начала претендовать на окончательность. Иначе ведь можно ошибиться в самом начале, сразу соврать, напортить, набезобразничать. Стоит упустить какой-нибудь гвоздик – и...

Конница разбита,
Армия бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого что в кузнице
Не было гвоздя.

Другая интенция – вопрос, допрос, критика самого интеллекта в его претенциозной – метафизической – интенции.

Когда *наш* интеллект, всматриваясь, вдумываясь во тьму существующего, вписывает существующее в конформный (=понятный ему) образ, перед нами вырисовывается божественно совершенное тождество мыслимости, добротности и красоты. Но *нашему* интеллекту нельзя упускать из виду (из умо-зрящего виду), что тем же рисунком обрисовывается и не вписываемое в мир ума: хаос перед лицом космоса, неопределенное, подлежащее определению, тварное в отношении к *ничто*, из которого оно сотворено и которое входит в его субстанцию, рациональная организация в отношении к анархической стихии. Словом (словом Э. Левинаса), *тотальность* интеллекта в отношении к Другому – и вся проблема, все дело в характере этого отношения. Другое может быть другой идеей, другим интеллектом тотальности, но может быть и другим, чем тотальность, вне-разумным бытием, бытием внеразумного небытия, которое таким образом как-то допускается, не встраиваясь в мир интеллекта. Мыслится не мистикой не-мышления, а, напротив, ростом, углублением, самопознанием своей разумности.

Проблемы, открывающиеся на метафизическом горизонте, кажется, там в конце концов так или иначе благополучно решены, на то ведь это и конец концов. Хотя порою кажется: что-то там не так; кажется, что концы эти просто спрятаны в темную воду иррационального, замалчиваются, утаиваются под предлогом сверхразумности.

Что не так, обнаружится, если мы задумаем тотальное благоустройство нашего малого – политического, практического – космоса. Когда *наш* интеллект, проникнутый благоустройющей ответственностью, обращает свое «космическое» внимание к *нашему* человеческому миру, на горизонте вырисовывается слишком знакомая нам едва ли не со времен Платона «Государства» идея общества тотальной организации. В отличие от добротности истинного космоса, в котором все на своих местах и ничто не может быть иначе, поведение человека всегда может быть иным. Здесь, в практике человеческого бытия, интеллект, кажется, играет роль прямо противоположную той, какую он играет, становясь на метафизические ходули. Именно в силу того, что человек им одарен, что он существо мыслящее, в практике его жизни все может быть и иначе: все обусловлено словами, смыслы пронизаны мыслями, решениями и выбором, сомнениями, колебаниями... А сам мыслящий, сомневающийся, размышляющий, выбирающий, решающийся человек остается неким отдельным без-условным субъектом, иначе говоря, субъектом свободы, началом свободной причинности.

В отличие от теоретического интеллекта, практическое мышление – источник ошибок, заблуждений, своеволия, а потому разного рода бед и злодеяний. Наша практика пронизана и обусловлена сомнительными мыслями – предрассудками, суевериями, обманами, ложными умозаключениями, а наша мысль, в свою очередь, пронизана страстями, сбивающими с толку. Словом, надо человека вразумлять, надо практику

жизни благо-устроить теоретически, чтобы иначе быть не могло... А чтобы иначе быть не могло, лучше с самого детства воспитывать, формировать, организовывать. Нужно государство как воспитательный дом, как иерархический организм, как многоголовое и многоочитое тело Левиафана, как паноптикум и система бюрократических служб...

Когда в эпоху модерна интеллект меняет руководящие правила (а это что за событие, как это интеллект меняет свои правила?) и место организующей формы занимает метод, идею тела-организма сменяет всеобщая организационная наука. «Тектология» назвал ее в начале XX века революционер, большевик А. Богданов; «кибернетика» назвал ее американский математик и один из основоположников работ по искусственному интеллекту Норберт Винер.

И куда ж мы попали с нашим ответственным интеллектом? Куда он завел нас? Недаром, видно, Платон предупреждал, что опасно смотреть на солнце умного неба – идею блага (добра), идею всех возможных идей и со-ответствующих им вещей. Тотальная монархия (едино-властие или само-державие), где один народ (материя), одна стража (партия), один сверхчеловеческий ум (гегемон, монарх, суверен, вождь) – божественный или искусственный... Тотальная организация превращает общество в добротное социальное тело или рациональную машину, освобожденную от блужданий человеческой свободы, источника ошибок и неприятностей. Так ведь?

Неужто какая-то изначальная ошибка кроется в самой идее тотально разумеющего разума? Почему она обнаруживается, когда, теоретически благоустроив космос, мысль переходит к благоустройству человеческого сообщества, полиса? Ведь истина-бытие (с добром и красотой) – это то и так, как не может быть иначе, законно, необходимо, справедливо. Богини Ананке-Необходимость и Дике-Справедливость следят за тем, чтобы иначе не было.

Если в свете тех же идей мы строим космос полиса, не надо читать Поппера, чтобы ужаснуться тоталитарному благу этой воспитательной казармы с философом-интеллектом во главе. А почему, собственно, ужасаемся? Властвует не тупой диктатор, а философ-интеллект на разумных основаниях. Может быть, это наша частная (идиотическая) душонка ужасается, не понимая – умом – своего блага в благе целого? И Аристотель, все заранее определивший, скажет нам, что человек, животное политическое, только в полисе-государстве исполняется как человек вполне. А уж нам-то все уши прожужжали этими поучениями. «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз!» (Маяковский)*, «Индивид, на каком бы месте он ни находился, ничего не значит. Судьба нашего народа в его государстве значит все» (Хайдеггер)**. Могуществом исторического субъекта обладает род-народ, или нация-государство, или иначе организованное социальное тело, а индивид обретает свое экзистенциальное могущество только посредством соучастия. Разве украинцы не становятся украинцами сейчас, сражаясь за свое политическое тело – Украину? Можно даже сказать – и говорят, – что Россия своей агрессией творит поистине автономную Украину, автономную уже не просто политически, а в собственном самосознании.

Заметим, однако, на будущее: гражданская жизнь не военный лагерь, солдат в воинском корпусе отвоевывает автономию не только своего государства, но и собственную автономию как полноправного и полномочного гражданина. Гражданство, в отличие от воинства, поле другого – мирного – полемоса-сражения за устройство (политейя) политического тела (конституция) и гражданского этоса (правосознание).

* Из поэмы «Владимир Ильич Ленин».

** Цит. по: Сафрански Р. Германский мастер: Хайдеггер и его время. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 366. Пер. с нем. Т. А. Баскаковой.

Ответственность индивидуального интеллекта, иначе говоря, персональная вменяемость или экзистенциальное авторство отнюдь не исчерпывается ни воинской ответственностью (повинностью) защитника своего суверенного дома-государства, ни политической ответственностью гражданина за внутреннее устройство государственной жизни, ни как бы то ни было еще данной идентичностью. Интеллектуальная ответственность человека, его персональная вменяемость – это его собственный (личный) интеллект, собственный источник всеобщего, предполагающий сообщество таких источников, не соответствие единомыслия, а со-ответственность мыслящих.

Если наш сознающий разум – это (не устану повторять) предельная экзистенциальная ответственность, он не может ни самодовольно править на тронах своих идеальных государств, ни скрываться от себя в иррациональных «мета» своих метафизик, ни завораживать себя проектами будущего, ни отрешенно созерцать, ни бестолково решаться.

Разум – это ведь не основание, а требование обосновать, ответить на вопросы: почему-де? да зачем-де? да как это возможно?

Так вот, там, на метафизических олимпах или на горизонте регулятивных идей, где, кажется, исчезает различие между «мыслить» и «быть», вопросы не только остаются, но встают, может быть, впервые во весь философский рост. Такие вопросы, что разуму, мыслящему (то есть вроде бы обосновывающему) самого себя, приходится удивиться самому себе, озадачиться самим собою вместе со своими истинами и благами, логосами, космосами, корпусами, машинами, организациями, рационализациями... И если интеллект норовит замкнуться в своем интеллектуальном самодовольстве, то придется ему очнуться на войне, которая не спрашивает, а уничтожает.

Честному разуму свои основания приходится обосновывать, то есть заранее находиться как-то и где-то вне оснований

и без оснований. Подобно Эдипу, разум выходит одновременно следователем, судьей, истцом и ответчиком (виновником). В трагическом недоумении интеллект уверяет (себя), что в конце концов основывается не в истине-мысли, а в истине-естине (а то и сверх-естине), что его определения соответствуют пределам самих вещей, что порядок и связь его идей соответствуют порядку и связи самих вещей... Но он же – следователь и судья – обоснованно сомневается.

Потому что не брать же основания с потолка или на веру, и еще хуже было бы застывать в любви к себе обожествленному (*amor Dei intellectualis = amor Intellecti deificans*).

Мыслить (то есть обосновывать, до-по-казывать) самого себя – значит ведь как-то быть вне самого себя. И где же конец этого «вне»? Похоже на то, что разуму, чтобы оставаться разумным, нельзя оставаться просто разумом. Вот он и заглядывает за самого себя в поисках надежного основания. Там он думает, надеется найти нечто гораздо более истинное и высокое, чем свои домыслы и сомнения, что-то сверх-разумное, иррациональное, мистическое, а потому (?) истинное. Об этих прыжках или, говоря внушительнее, трансцендированиях разума кто только не рассказывал, мы слышаны...

А почему, собственно, там, по ту сторону разума, что-то более истинное? За пределами разума может оказаться не сверх-разумное, а вовсе неразумное, безумное, сумасшедшее. Не сверх-прекрасное, а лишенное образа, без-образное, не сверх-бытие, а как раз *ничто*, не сверх-благо, а... вот оно – недопустимое, непонимаемое, неоправдываемое, неразумное зло, которым ведь наш благо-намеренный разум нас и запугивал, загоняя в свой воспитательный дом, но и расчищая тем самым место этому *ничто*, которое наращивает могущество своего небытия, по мере того как его из бытия изгоняют.

С одной стороны, разум вовлекается в построение монументальной монархии, тотальной организации, с другой –

развлекается в анархии самомнений, игр, практик, безумств, войн, безобразий и прочих «естественных состояний». Куда ж бедному мыслящему существу податься?

Вот это место, где разум ведет суд с самим собой, кажется, важно. Тут толпятся системы, умы, боги, хаосы, тотальные утверждения и решительные отрицания. Стоит остановиться, осмотреться. Это ведь и есть наше человеческое, слишком человеческое место.

VIII. За стенами благоустройств

Клеймят Хайдеггера-нациста, клеймят Платона-тоталитариста, клеймят Маркса-коммуниста, Спинозу-детерминиста, Гегеля-панлогиста... Если, однако, послушать самих «истов», едва ли не первое, что услышим: в философии нет мнений, взглядов, авторских идей-идеологий, даже мировоззрения не дело философской мысли. Тут-де царит Ананке-Необходимость, имманентная логика мысли: не я так мыслю, сама мысль так мыслит, хочешь не хочешь, а так оно есть, то есть иначе быть не может, то есть так должно быть. Заметим эту поспешность: мы думаем, что логической необходимостью коснулись внемысленного бытия.

Трудность, однако, в том, что логики таких «иначе быть не может» сами могут быть иначе. Довольно припомнить разумные миры упомянутых выше философов (Платона, Спинозы, Гегеля, Хайдеггера) – как будто разные разумы их при- и продумывали.

Но как же Ананке-Необходимость, тем более Дике-Справедливость допускают множество разных метафизик, мудростей-софий, согласно которым иначе быть не может? Их толпа, что ли, этих Ананке? А главное, как они – высшие Необходимость и Справедливость – допускают недопустимое: например,

индустрию массовых убийств, войну на уничтожение, позволяющую уничтожение вообще всего?

О, вот это философский вопрос: фило-соф – любитель мудрости – стоит в растерянности перед возможностью разных «софий-миров», более того, перед возможностью тотального краха тотальной разумности, то есть тотальной ответственности.

Это вопросы не внутри божественного интеллекта, премудрости (где ответы уже содержатся в необходимости, в ее – этой (!) софии – логосе-логике, достаточно припомнить), это вопросы интеллекта об (!) интеллекте (тотальной логике, необходимости). Значит, где мы находимся с этими вопросами? Где-то до «мудрости» (мира, схваченного – понятого – интеллектом) или вне миров-интеллектов, между ними? В междумирии онтологически осмысленных миров? Вот тут, в этом «между», наша растерянная, блуждающая в потемках мысль норовит вернуться в свой жизненный мир, пусть в целом невразумительный, но в частных сферах разных практик, в мирах разных сообществ разумно организуемый. Между тем тотальный интеллект, усомнившийся в своей онтологической состоятельности, имеет случай столкнуться с самим противоразумным *ничто*. В таком расположении – вне тотальной вразумительности (платоновской, томистской, картезианской, гегельянской, феноменологической) – мысль становится (может стать) поприщем, где, говоря политически, формальная цивилизованность сталкивается с аморфным варварством. Современность имеет для этого варварства название – нигилизм. Не тот нигилизм, что преодолевается какой-нибудь переоценкой ценностей, а «чистый», та власть, которую он волит, не власть владения, а уничтожающее могущество *ничто*.

Война, такая война, эта война, война на уничтожение, говорю я, недопустима, у нее нет «резонансов». Точнее, их множество, но все фиктивные. Это нигилистическая война. Не здесь

ли наш усомнившийся в себе интеллект может встретиться с этой войной России против Украины? Разумеется, не на полях сражений, где убивают, а в самом себе, не знаящем, что же думать о ней. Глядя на уничтоженные города, храмы, хозяйства, на расстрелянных прохожих, изнасилованных детей, ум стоит, столбенеv в недоумении: «Как же такое возможно?»

И правда, как же, чем же тут – в этом «до» или «между» – думать? Какой логики держаться, каким правилам для руководства ума следовать? Какой Необходимостью выводится возможность бесцельного уничтожения?

Мы тут, в этом «до», «между», «пост», помнится, уже были вместе с чужестранкой-философией, вместе с перемещенными лицами и беженцами из разбомбленных домов и рассеянных сообществ. Это опасное место: здесь-то, за стенами мирозданий и мета-физических допущений, нам грозит столкновение с недопустимым. Это вопрос не метафизической софио-логии, а собственно фило-софии, бродящей со своим «дружелюбием» между «софий» и мирозданий.

Мы помним Аристотеля: философия занимается первыми началами. И вот мы наткнулись на первичность начала, не заранее отчетливо отделенную от *ничто* («ничто из ничего не возникает»), а более из-начальную, как бы только возможную, еще только намеревающуюся возникнуть из *ничто*, не уже начатую, а еще только начинающую себя, еще не *что*, но уже не *ничто*. Угроза уничтожающего *ничто* дает нам понять: любое *что* никак и ничем в своем что-бытии не обеспечено, не дано нам (как говорят) – оно *есть*, поскольку отвоевывает себя у *ничто* и надеется на наше сотрудничество, сорабничество.

Но как же вообще можно думать, судить там, где нет ни принципов, ни основоположений, ни правил для руководства ума, где ум – какой? его еще нет – должен сам себе себя дать? А вместе с собой и свой вразумительный мир или – мир возможных миров.

Наш интеллект, призванный к научной работе, теряется, когда его призывают на войну. Условно, конечно, просто в самосознании ответственного бытия. Мы знаем, есть призвание политика, есть политика с законами своего легитимного насилия. Война, то есть насилие по определению нелегитимное, тем не менее тоже имеет свою дипломатию и политику: свои условия, договоры и правила. Но вот перед нами война, в которой враг пользуется преимуществом, которое дает преступание всех правил, писанных и неписанных, война антилегитимная, сознательно преступная. Помня, однако, об умной устроенности целого – о Благе, о Справедливости, о естественных или божественных законах, – мы полагаемся на благоустройство мира, как если бы существовало некое естественное провидение: какие-то самовосстанавливающиеся нормы, циклические законы, кармы, чуть ли не астрологии и пятна на Солнце. Добро, бормочем мы, рано или поздно победит, надо только подождать. Война как стихийное бедствие, несчастный случай, противоречащий порядку вещей. Переждем ее, и Дике-Справедливость вместе с Ананке-Необходимостью вернет все на свои разумные места.

Немного уточним определение Аристотеля: философия занимается обоснованием первичности (!) первых начал или оснований теоретического (софийного) мира с его внутренней необходимостью. Она находится там, где все еще может быть иначе. Если так, отвлеченная философская мысль оказывается ближе практическому разуму, чем теоретическому, а задача онтологического обоснования оказывается в соседстве с задачей *отвоевания у ничто*. Философия спрашивает: *как возможна чистая метафизика с ее идеей всеобщего блага?* И в это вопрошание входит уяснение, утверждение и отстаивание практической – экзистенциальной – значимости: *ценности*. То есть того, без чего жизнь не в жизнь.

От истины-добра-красоты Платона стоит, видимо, вернуться к Канту и внимательнее вдуматься в его различающую критику. Кант исследует априорность, первичность начал нашей мысленной ориентации в мире, но в основание критики сразу же положено изначальное неблагополучие человеческого умо-расположения в мире: мыслящее существо вырвано из естественной связи причин и оставлено на волю своего мышления. Дар мышления оказывается чем-то прямо противоположным благоустройению, а именно потерянностью в свободе. Пока же заметим: философия останавливается, тормозит там, где и когда «ничего еще не было» и все еще только может быть, или там, где все может быть уничтожено и требует защиты, обороны, отвоевывания у *ничто*. Возможности мыслить и быть – вот ее тема. В этом отношении отвлеченная философия оказывается ближе к практическому разуму, чем к теоретическому. Более того, ее отвлеченность доходит в мысли как раз до тех пределов (и переходит за них), до которых практически доводит беспредел войны на уничтожение.

Мы забрались глубоко (или высоко), а при чем же здесь идущая война?

Война есть война, тут воюют воины и страдают люди, тут взрываются жилые дома и рушится дом общего хозяйства (эко-логия, эко-номика). Тут дело идет о жизни и смерти. О первом и последнем. Тут все опоры, перила, правила, эскалаторы, лифты, нормы, институции. Все, что везло нас и водило за руку, рушится. Мир показывает нам свою обратную сторону – границу, где ничего еще нет, кроме нас, стоящих под вопросом (одни под вопросом, другие под огнем) в решающем действии. Ничего, кроме нас, и – *ничто*. Тут и теперь открывается: это *ничто* вовсе не просто пустота допустимого, это *ничто*, имеющее силу уничтожать, *ничто*, не только не допускающее разные «что», но и не допускающее быть никакому «что» и потому само недопустимое.

Оказывается, мы в своем последнем «что» («тревожный чемоданчик»), мы – самые последние обыватели, слабые, больные, напуганные, растерянные – хотим или не хотим, а на войне. Наша обычная жизнь имеет эту подоплеку – быть войной. Нет-нет, не за что-нибудь прекрасное и высокое, но и не просто ведь за жизнь. Есть многое в жизни, без чего жизнь не в жизнь, за что мы готовы и жизнь отдать. Что же это?

Часто мы думаем отделаться от вопроса тем, что вписываем себя в тело какой-нибудь вековой традиции, изначально и не нами данной премудрости. Или в саму природу: дескать, самосохранение – вот закон. Или в «нормальную» жизнь, которая-де везде и повсюду одна. Или, как вот здесь и теперь, в политическое тело нашего государства, которое защищает нас, защищающих его. Таковы разные жизненные «мудрости». А мы, напомним, помимо этого еще и где-то вне, до, между. Я, например, не родился украинцем, а впервые – сознательно и решительно – им становлюсь, потому что решил, выбрал и буду отвоевывать. Нет, разумеется, не на фронте (куда мне?), но у собственной слабости, собственного уничтожающего *ничто*. Мы становимся украинцами, гражданами Украины, которая сама, может быть, впервые становится политическим и историческим «что», становится нашим украинским «что», отвоевываемым у уничтожающего *ничто*.

Когда я говорю, что идущая сейчас террористическая война России против Украины – это война самого зла (уничтожающего *ничто*) против добра, то вот оно – добро – во всей своей простой наглядности: оно все помещается в котомке беженца. Это на него нацелены российские крылатые ракеты, бомбы и орудия залпового огня. Говоря «добро», я имею в виду не «идею добра», а вот это самое: украинские солдаты защищают то, что может и хочет, что достойно *быть*, защищают от агрессивного небытия, ничего другого, кроме уничтожающего небытия, не имеющего и не несущего. Мы касаемся первоначал бытия. Они

нам ясны, как в откровении. Непрстойное в своем голом бесстыдстве, глумливо хохочущее *ничто* против воинов, которым есть *что* защищать.

Вот Декарт, храбрый солдат действующей армии, живущий на постое в баварском городке Ульм и получивший уют и досуг для размышлений, начинает свои поиски в войне с тотальным сомнением. Отстранив все подсказки, он на ощупь ищет надежную первичность первооснования. Но вахта философа-воина отнюдь не в хранении найденного надежного основания. Декарт видит свое дело в самом – возобновляющемся – поиске во тьме. В стойкости сомнения, в мыслящем бодрствовании он находит свободу и достоинство бытия, выдерживающего натиск сомнения. Оно – бытие – длится, пока его мыслят, то есть отвоевывают у сомнения.

Вот Людвиг Витгенштейн, 1914 г. Он отдает огромное состояние родственникам, идет добровольцем на фронт. Хрупкий нервный интеллигент живет в качестве инженера-смотрителя прожектора на катере с хамоватой солдатней. Надо ловить самолет в ночном небе, поэтому он сам и оказывается первой целью. В одном кармане наброски «Логико-философского трактата» (где сказано: логика должна сама заботиться о себе), в другом – Евангелие в переложении Л. Толстого. Ведет тайный дневник, мучается своими секс-комплексами. Там почти в тот же день запись: «Ты должен рассчитывать только на самого себя». Вот философ. Вот место его отвлеченной мысли. «Мир есть все, чему выпало быть». Мне нет никакого другого места, кроме мира, в котором мне случилось быть. Напомню: это война, ночь, бомбардировщик, истребитель...

Таков основной вопрос философии: как мы вместе с нашим миром и всем, кто и что в нем и сверх него, рождаем-ся, начинаем-ся, как начинается мысль, способная помыслить и держать в себе это начинание из ничего. Или в соседстве с другими начинаниями. Причем начинание отличается от установления

перво-аксиомы, перво-основы, основа включает в себя бодрствование обоснования, то есть отвоевания у *ничто*, потому что *аксиома* включает в себя смысл *ценности*.

И вот Кант, смиреннее некуда, этакий философствующий Башмачкин, всю жизнь в одном городе, одном университете, одном кабинете... Но если мы хотим понять, что делать интеллекту в войне на уничтожение, нам стоит заглянуть в его землянку.

IX. Что и ничто

Войны вообще вполне понятны: захват территорий, подавление конкурента, освободительные войны – «продолжение политики иными средствами». Отечественная война, которую сейчас вынуждена вести Украина, имеет смысл. Более того, она трагически обнаруживает смысл существования самой Украины как *аксиомы* украинского сообщества, как *res publica* – общего дела, нашего дела. Под обстрелами, в окопах и блиндажах «сейчас в Украине тысячи историков, писателей, бухгалтеров, банковских служащих, айтишников, учителей, дизайнеров и людей других мирных профессий, – пишет историк, писатель, музейный работник Назар Розлуцкий. – Их убивают 152-миллиметровыми снарядами и ракетами из «Точек-У», в них летят пули и ВОГи, кассетные и фосфорные боеприпасы. Кто-то из них уже погиб. А кто-то никогда больше не вернется к своей специальности, потому что выгорел. Но все они продолжают воевать. Потому что за ними Украина. Потому что, если они сложат оружие, их родители будут убиты, жены и дочери изнасилованы, а жилища разрушены или конфискованы»*.

* «...зараз знаходяться в Україні тисячі істориків, письменників, бухгалтерів, банківських працівників, айтішників, учителів, дизайнерів та інших, геть мирних професій, їх убивають зі 152-го і з Точок-У, по них прилітають кулі

Гражданское население тоже на войне, потому что ракеты и системы залпового огня российской армии обстреливают жилые районы городов, танки сносят поселки и отдельные дома, а солдаты обстреливают автобусы эвакуации и проезжающие частные автомобили. Воюющие – каждый на своем месте – уже не просто «население», а участники события, которым сбывается бытие исторического и политического существа по имени Украина. Это экзистенциальная война: не просто за жизни людей, а за существование Украины, за ее *res* – политическую, историческую, культурную «чтойность». Не очень подходящий в мирное время лозунг «Армія, мова, віра»** становится ведущим в отечественной войне – общенародной и священной. Это испытание страны на ее государственную состоятельность (*status*): Украина не пустое название, она на самом деле есть, настолько есть, что можно за нее и жизнь отдать. Впервые является народ в своем государстве (*res populi*), который на деле защищает свое существо (*res*) в его добротности, даже красоте, трагической красоте взаимопомощи, солидарности, добровольчества, что мы и видим каждый день. У этой войны есть смысл, она разумна, говорим мы. Война требует солидарности людей, которые в мирное время расходятся по частным делам, занятиям, интересам, партийным предпочтениям. Отечественная война пробуждает самосознание общества как политической нации. Первой в огне войны сгорает разнородная «вата» – совковые «братства», имперский «одиннарод», популистская демагогия... Затем отодвигаются в сторону партийные различия, умолкают разногласия и склоки, забываются

і ВОГи, касетні і фосфорні боеприпаси. Хтось із них уже загинув. А хтось ніколи більше не повернеться до свого фаху, бо вигорів. Але всі вони продовжують воювати. Бо за ними Україна. Бо, якщо вони складуть зброю, їхні батьки будуть убиті, дружини і доньки згвалтовані, а житла зруйновані або конфісковані» // <https://suspilne.media/culture/260635-u-nas-e-istoriki-gotovi-spati-na-asikah-po-pat-ludej-na-dva-spalni-misca-zvernenna-nazara-rozluckogo> (дата обращения 19.11.2024).

** Армия, язык, вера (укр.).

идеологии и прочие сложные интеллектуальные различия. На месте этих различий появляется одно: Украина как наша общая собственность. *Наше* историческое бывшее, *наше* суверенное бытие, *наше* будущее под угрозой уничтожения. Кто же, что же угрожает уничтожением? Вот тут внимание: нет, не другое «мы», не другое «что», а некое уничтожающее *ничто* по имени Россия.

Я называю воюющую Россию уничтожающим *ничто* не в риторическом гневе, это не метафора. После Ирпеня, Бучи, Волновахи, Мариуполя, Изюма с каждым днем очевиднее, что тактика российской агрессии – тактика выжженной земли. В оккупированных городах, как в Херсоне*, в действие приводится другое оружие – оружие массового поражения сознания: СМИ-пропаганда. Ее цель не переубедить, а уничтожить сознание, в просторечии – зомбировать.

Трудно понять *ничто*, ведь интеллект умеет понимать только что-то, со своей стороны готовое быть понятым. Понимание отвечает на вопрос: что это такое? Сейчас, на четвертом месяце захватнической войны, мы видим: для могучей армии России захватить – значит уничтожить, стереть с лица земли, а перед этим разве что помародерствовать, вывозя зерно, уцелевшую технику, металл и все, что попадет под руку. «Демилитаризация» означает уничтожение ракетами и бомбами, «денацификация» означает деукраинизацию, ликвидацию всего, *что* есть Украина в сознании украинцев. Какое же «что» собирается стать на зачищенном от украинцев месте? Что такое предполагаемая русификация, если не обращение в рабство?

Другая сила в экзистенциальной войне на уничтожение может исходить от другого политического существа (государства), другого «что». Понять такую войну значило бы понять резоны этого другого существа. Пусть даже такие, согласно

* Украинский город Херсон был освобожден от российской оккупации 9 ноября 2022 года.

которым в условия его что-существования входит несуществование первого существа. Это значило бы: для России существование независимой европейской Украины несовместимо с ее собственным существованием, как бы мы ее существование определяли: имперское, азиатское, фашистское... Это значило бы: 1) России есть за что сражаться, за что положить жизни своих людей; 2) российское «что» несовместимо с существованием «что» Украины и 3) российское «что» подлежит внедрению в сознание украинцев. Вот тут возникают сомнения и недоумения. Мы видим хладнокровное массовое уничтожение людей, поселков, городов – беспредельное и беспощадное, а какого-то другого интереса (резона) не просматривается. Ни Российской империи, давно канувшей в небытие, ни «союза нерушимого республик свободных», давно разрушенного, ни геополитического интереса, кроме военных баз для дальнейшего уничтожения, – ничего. Весь репертуар мотивировок этой беспредельно жестокой войны построен на лжи. Назвать демократическую парламентско-президентскую многонациональную Украину с десятком действующих партий и сменой власти, назвать Украину, которая стремится в ЕС и поддерживается всеми демократическими странами, нацистской – это откровенная ложь. Ложь тем более сознательная, что политический строй России по всем параметрам сам складывается в заурядный фашизм (а с идеологией безграничного «русского мира» – вполне нацистского пошиба). «Фашисты, именующие фашистами других, – говорит Тимоти Снайдер, – это фашизм, доведенный до нелогического предела в своем преклонении перед иррациональным. Это финальная точка, в которой язык ненависти выворачивает реальность наизнанку, а пропаганда превращается в чистой воды заклинание»*. Объяснять войну

* Цит. по: https://meduza.io/feature/2022/05/21/my-dolzheny-skazat-eto-vsluh-rossiya-fashistskoe-gosudarstvo?fbclid=IwAR2h_MQH-fUPoY84RXZk-atxIFkQgсPsQO0xrbGrJj0HlJ6SckmkDvng_YA (дата обращения: 19.11.2024).

на уничтожение защитой бедных русскоязычных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР – это ложь циничная, ложь, замалчивающая план «Новороссия» под руководством Гиркина и Бородея, превративший бандитский захват власти сепаратистами в гибридную войну. Если же все это для отвода глаз, а «на самом деле» на земле Украины Россия сражается с расширением НАТО, то туда Украине был (если был) очень-очень долгий и трудный путь, который в результате сократился, к тому же убежденные нейтралы Швеция и Финляндия уже вошли в НАТО (того гляди войдет и Швейцария). Остается путь в Крым и изоляция Украины от моря, но странно начинать такую «операцию» с попытки взять Киев и учинить госпереворот.

Нет, дело не в прагматике, дело просто в том, чтобы смертоносным террором, уничтожением населения, взятого в заложники, заставить Украину сдаться. Не победить, не захватить, не оккупировать (это как бы само собою), главное – сломать. «Военная операция по денацификации» – прикрытия уничтожения Украины украинцев, геноцида. И это все.

Спросите русских солдат, за что они сражаются. За «веру, царя и отечество»? Смешно. За Путина? Да кто он им? За «русский мир»? Да кто знает этот пропагандистский миф? Вот и выходит: они рискуют жизнью ни за что, или за *ничто*. По солдатской неволе, конечно, но также и просто из удовольствия грабить, насиловать и уничтожать. Армия занята не столько сражениями, сколько дальнебойным уничтожением. Глядя на полуразрушенный Харьков, уничтоженную Волноваху или разбомбленный Мариуполь с «Азовсталью», понимаешь, что у России в этой войне нет никаких иных целей, кроме уничтожения и террора. Разрушить и убить важнее, чем оккупировать. А там, где на оккупированных территориях остаются люди, если не расстрелять, то растоптать их человеческое достоинство: похитить детей и насильно увезти беженцев в Россию,

под угрозой расстрела всучить российские паспорта, сжечь на показ книги на украинском языке, нагадить в домах, где стояли...

Это отнюдь не преувеличения, а просто сводка с фронта. Именно это уничтожающее *ничто* требует пристального внимания. Перед нами голое в своем непристойном бесстыдстве зло. Как же оно образовалось?

Уничтожение того, что есть, разрушение того, что добротное, обезображивание, уродование. Глумливая усмешка пустого и опустошающего зла. С ней невозможны никакие переговоры и договоры. Зло смеется над добродушием и великодушием, свойственными украинцам, над нормами привычного гуманизма, резонами здравого смысла, правилами элементарной цивилизованности. То, что обычному человеку кажется предельным абсурдом, сознательный беспредел уничтожающего *ничто*.

Вот эта усмешка зла и ставит под вопрос наш интеллект, когда он пытается понять смертоносный абсурд российского вторжения в Украину. Описать его можно, понять нельзя. Чем более адская картина разворачивается перед глазами, тем в большее недоумение впадает наш понимающий интеллект, построенный в идее истины-добра-красоты. Находя на месте военных резонов уничтожающий абсурд, разум такую войну не понимает, а отрицает, но ведь и зло есть уничтожающее отрицание разумного, благоустроенного (хотя бы в замысле, в проекте) бытия. Это битва взаимоотрицаний: *ничто* против *что*.

Так, может быть, наш позитивный интеллект слишком позитивен? Его идея истины без лжи, добра без зла и прочих «гениев чистой красоты» не лишает ли его собственной силы и умения – понимать?

Может быть, в цинической усмешке голого зла кроется насмешка над некоей глупостью нашего разума?

Вот сидит Иов в разодранной одежде, соскребая с себя гной и запекающуюся кровь, а вокруг него разумные друзья, каждый со своей теодицеей. Всевышний, однако, слышит Иова и отвечает ему, а благочестивые теодицеи ему не нужны. Ответ Творца на фоне разумных теодицей звучит невразумительно. Можно, конечно, броситься в бездну «страха божьего» или утаиться в молчании сверхразумного таинства, но что-то вроде интеллектуальной совести останавливает мысль, не дает ей упиваться «бездны на краю» и прятаться в непостижимое. Мы вспоминаем, что интеллект – это не сочинение благоустроенного мира, а ответственность. В том числе и ответственность за самого себя. Его теоретическое умозрение стоит в практической – политической – ответственности за бытие человека человеком. Мыслить – значит не просто иметь дело с мыслимым (разумным, понятным), мыслить – значит отвоевывать смысл у бессмыслицы, *что у ничто*.

Вопрос, под который голое зло (уничтожающее *ничто*) ставит наш прекраснодушный интеллект (а свидетельствами его безответственного благодушия полон сейчас хор миро- и добро-любивых речей), задает не зло (оно не спрашивает), а сам интеллект. Интеллект перед безличием войны на уничтожение озадачивается самим собой.

Все перечисленные оправдания развязанной войны – пустое. Скорее всего, ведущим мотивом был тот, что объявил российский министр иностранных дел С. Лавров: «...самодовольство стран Запада после окончания Второй мировой войны». Вот ведь как! Оказывается, просто ресентимент. И это похоже на правду. Страна, живущая продажей сырья и оружия, не умеющая конкурировать на международном рынке, неспособная ничего предложить миру в сфере высоких технологий, а теперь даже и «в области балета». Страна, едущая в будущее в «карете прошлого» – славе бывших побед, раздуваемой пропагандой, памяти о великой культуре, – а нынче не имеющая

за душой ничего, кроме пустой «самобытности», может самоутвердиться (или, как они говорят, «заставить считаться с собой») только масштабом разрушений и беспредельностью зла. Если мы ничего не можем предложить миру, мы можем ответить самодовольству разных «что» силою *ничто*.

Однако как же *ничто* может быть силой? Это противоречит классическому интеллекту, которым мы все еще по привычке мыслим. Но мы с ним ошибаемся... Для меня это событие некоторым образом откровение, требующее радикального переосмысления всей нашей классической философии, начиная с Парменида и Платона. Классическая, условно говоря, платоновская онтология, которая исчерпывает все бытие, ошибается, вынося *ничто* за скобки. Начиная с Парменида: «Бытие есть, а небытия нет». «Небытия нет» не просто констатация — это действие. Классическая онтология устраняет *ничто* и отстраняется от него, тем самым его порождая как невразумительное, неименуемое, неуловимое. Но, спрятавшись в своем «нет», *ничто* наращивает свои силы как силы уничтожения. Нет, *ничто* – это не хрупкость, непрочность, смертность и временность существующего. *Ничто* не порча, не трещина, не недостаток идеального бытия, погруженного в материю. Нет, *ничто* – это сила, а не просто отсутствие. Отсутствие как реальная сила чем-то питается. Ведь, чтобы быть силой, нужно чем-то питаться. Так вот, сила *ничто* питается нигилистической энергией уничтожения. Один мой друг по фейсбуку подарил мне точную формулу бытия *ничто*: *deleo, ergo sum* – *уничтожаю, следовательно, существую*. В ответ на это классический разум теперь может сказать: *cogito – produco ex nihilo – ergo sum* – *мыслю, то есть произвожу из «ничто», следовательно, емь*.

Воплощение энергии уничтожающего *ничто* – ядерное оружие. Могущество России сведено теперь к могуществу уничтожающего *ничто*. Свидетельством тому служит не раз и на

разные лады заявленная решимость нанести всеуничтожающий ядерный удар: дескать, нам терять нечего. Впервые эта угроза превосходит стратегию сдерживания и звучит всерьез: для уничтожающего *ничто*, силою которого сильна Россия, и это не предел. Для России не существует ценности мира и ценностей человечества со всей его историей. Это нигилизм окончательный.

Но ведь она же так озабочена своей самобытностью, хранением каких-то ценностей именно от «разлагающего влияния Запада». Что же это, что у нее за душой?

Ничто, разумеется, питается бытием, тут я согласен с классической онтологией, но две поправки: 1) *ничто* беспредельно, оно не «дырка в бытии», это бытие – «островок» в беспределе *ничто*; 2) *ничто* питается силой зависти к бытию, эта зависть, говорят богословы, причина падения ангела Денницы, а говоря проще, известный ресентимент: комплекс неполноценности, компенсируемый манией величия.

И зависть, и ресентимент легко распознаются в террористической агрессии России против Украины. Утраченное имперство, распавшийся СССР, превосходство Запада, маниакальный комплекс преследования («русофобия») и опустевшее символическое величие...

Мы начинаем выяснять, что это такое – нынешняя Россия, откуда она выросла, и на ее месте ничего не находим. Страна живет памятью о прошлом, патриоты – о великой победе, интеллигенция – о великой русской культуре, обыватели – о пломбуре и колбасе за 2,20. Впереди ни царства божия на земле, ни коммунизма, ни русскомирства, разве что мировое господство, если не мытьем завоевания, то катаньем уничтожения. Современная Россия – развесистый гибрид взаимоисключающих национальных идей и политических идеологий, выросший в котловане всех неудавшихся строительств. На царском троне президента восседает гибрид монарха и чекиста, крест

скрещен с серпом и молотом, коммунист христосуется с попом, а поп освящает ракету «Сатана» и благословляет детей при вступлении в пионеры. Политэкономия коррупции устраивает горизонталь бюрократии при «вертикали власти», капитализм государственной мафии совмещен с монополией ресурсодобычи и ВПК.

Х. Война, объявленная миру

Война, развязанная Россией в Украине, объявлена миру. Она ведь и началась с ультиматума странам НАТО, где передернуты причины и следствия: не НАТО расширяется на восток, а страны, бывшие сателлитами СССР или в зоне его влияния, вырвались из соцлагеря, бегут как можно скорее под защиту НАТО. Война объявлена не только правовой архитектуре послевоенной Европы, но и самой идее международного мира, идее договорной. Этой войной Россия утверждает войну, силу как решающую инстанцию существования в глобальном мире. (Захар Прилепин в передаче Первого канала «Время покажет», апрель 2022 года: «...Всей стране, всему народу надо понять, что <...> впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов».) Глобальная война задумана в глобальном мире с ядерным оружием, глобально уничтожающим. Поэтому основной стратегией становится ядерный шантаж.

Безусловным преимуществом в ядерном шантаже обладает тот, кто допускает самоуничтожение, и тут «ничто» России в глобальном мире разных «что» становится ее всемогуществом. Нам нечего терять, а им – вам – есть. У вас есть ваше «что», ваша частная – нации, государства, цивилизации – собственность, ваше добро, ваше достоинство, у нас нет ничего, у нас – *ничто*, вооруженное оружием массового уничтожения.

Господин, говорит Гегель, тот, кто готов поставить на кон игры собственную жизнь. Тот же, кто цепляется за жизнь, нуждается в господине и становится рабом. Претензия России на мировое господство обосновывается тем, что она готова рискнуть не только собственным существованием, но и существованием мира. Вспоминая известное высказывание, можно сформулировать так: «Да, Россия – угроза миру, мир хочет от России избавиться, но зачем нам мир без России?» Парадокс в том, что именно *ничто* – там нечего терять, ни ценного имущества, ни людей – становится источником уничтожающего всемогущества и основанием претензии на мировое господство.

Наше время, говорит С. Хантингтон, эпоха «столкновения цивилизаций». Не политические войны суверенных государств, но войны, где играет роль «культура». Так и называется сборник под его редакцией: «Культура имеет значение» (Culture matters). То есть помимо обычных – политических, политэкономических, геополитических войн – возможны войны цивилизаций или культур (например, религиозные), и мы вступаем в эпоху, чреватую именно такими войнами. Цивилизация ислама уже сказала свое слово, цивилизация Восточной Азии – тоже... Говорятся эти слова-действия в полемике-сражении с тем, что называется Западом, на Западе же эти действия могут стать вразумительными словами. Дело в этих войнах идет не о территориях и границах, не о суверенитете, а о чем-то, что находит выражение в культуре: традиции, обычаи, верования – все, что мы именуем пустоватым словом «ценности». Ценность в таком контексте можно определить просто: то, что дороже, ценнее жизни, то, за что можно «душу и тело положить», потому что без этого ценного сама жизнь не имеет ценности.

Мне, по моим занятиям, сразу припоминается Сократ, который отдал жизнь за возможность «вести беседы», потому что без этих бесед жизнь для него теряла всякий смысл. Вот такие смыслы наполняют то, что заключено в культуре некоей

цивилизации. И вот оказывается, что можно положить жизнь, защищая свою культурную собственность, свое «что», а можно истратить миллионы жизней «задешево», за *ничто*, когда могущество ценнее всякого «что-имущества», пусть это и будет могуществом *ничто*: «Нам нечего терять».

Бывает, известные нам войны приобретают экзистенциальный характер. Это те войны, в которых дело идет не о приобретениях и потерях, а о самом существовании воюющего субъекта. Именно об этом – афоризм Голды Меир: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса».

Война ставит под вопрос жизнь и добро воюющих сторон. Она может завершиться капитуляцией одной из сторон, безоговорочной или оговоренной в мирном договоре. Но есть война мировая, какой была Вторая мировая война, война союзников, антигитлеровской коалиции против нацизма. Это не политическая война государств и не религиозная война цивилизаций. Она мировая не только по масштабу и множеству государств-участников, а по смыслу: она идет не за частное добро народа, культуры, государства, а за общее добро, за то последнее и первое, простейшее и все в себе содержащее, что делает человека человеком. Таков был смысл войны «мира» (союзников) против нацизма.

Смысл этот был зафиксирован после окончания войны во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году на 3-й сессии Генассамблеи только что образованной ООН.

«Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи... является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества...»

Вот за что шла цивилизационная война. Война не против государства, страны или нации, война не одной цивилизации против другой, а война «человеческой семьи» против варварских актов, которые возмущают совесть человечества (!). Декларация, принятая Организацией Объединенных Наций, пытается сформулировать некие базовые ценности цивилизованности, равно значимые для всех цивилизаций при всем их различии; принципы, отделяющие цивилизованность от варварства.

Что тут важно?

1. Это декларация от лица «человеческой семьи» (human family).

2. Возмущена «совесть человечества» (the conscience of mankind).

3. Возмущена она попранием достоинства (dignity) человека как такового, то есть фундамента всех прочих прав человека.

Итак, вот что зафиксировано в этой декларации и что сосредоточено в понятии «человеческое достоинство»: если эта декларация принята от лица «человеческой семьи», чья совесть возмущена, это значит найдена некая цивилизационная универсалия, признанная всеми цивилизациями, сосуществующими на Земле. Человеческая семья в мировой войне открыла цивилизационный фундамент глобального мира: человеческое достоинство.

На стене Земельного суда во Франкфурте-на-Майне высечено первое положение первого параграфа новой послевоенной конституции Германии: Die Würde des Menschen ist unantastbar («Достоинство человека неприкосновенно»). Такой вывод был сделан из опыта нацизма, опыта лагерей, опыта массового уничтожения людей, лишаемых прежде всего достоинства, а потому превращаемых в материал, используемый или уничтожаемый. Достоинство, о котором идет здесь речь, – это не разного рода достоинства, которыми могут обладать разные

люди, нет. Неприкосновенное достоинство человека – это своего рода сакральная аура вокруг человеческого существа как такового независимо от его добротности, доблести, добродетелей, заслуг или вообще полезности. Независимо от его дальнейшей – гендерной, этнической, национальной, культурной, конфессиональной, гражданской (сословной, классовой) – принадлежности.

Достоинство человека – это универсальный этический остов человеческого существа как такового. Все нравы, все культурные, конфессиональные различия вторичны. Именно чувство собственного достоинства объединяет народы мира в семью, обладающую совестью, то есть чувствительностью к оскорблению человечности человека – в другом или в себе.

Нет, не территории, а человеческое достоинство – вот что стояло под вопросом во Второй мировой войне, если отнестись к слову «мировая» всерьез.

Агрессивная террористическая война, которую Россия ведет против Украины, тоже уже мировая. Не только из-за имперских притязаний и угроз ядерными ударами. Ее враг – то, что сейчас ей противостоит и что сломать входит в ее задачи, – человеческое достоинство. Достоинство – именно то, что нетерпимо для России и в самой Украине: достоинство собственного существования. Поэтому война разворачивается как уничтожение мирного населения, жилых кварталов, больниц, школ... Поэтому изнасилования и мародерство не случайные эксцессы, они входят в замысел войны, уничтожающей человеческое достоинство. Не так нужно уничтожить, как унижить, «опустить». Вы должны сломаться и попросить пощады. Так Россия относится к собственному населению, так же – и к тому Государству, которое возникло в результате революции достоинства (!).

Все участники человеческой семьи, чья совесть возмущена варварским попранием человеческого достоинства, должны

осознавать войну России против Украины как мировую. На этой войне испытывается совесть-сознание человечества (the conscience of mankind).

Эта война экзистенциальна не только потому, что дело идет о самом существовании Украины, – Россия посягает на нечто более изначальное: достоинство человека и страны, чье гражданское самосознание включает в себя «революцию достоинства». Достоинство человека всячески попирается в самой России. Мы знаем, жизнь человека в России ничего не стоит, но это только следствие изначального неуважения человека к человеку в России. Не раз замечали: неуважение к человеку (от роддома, детского сада, семьи, школы до домов престарелых и ночлежек для бомжей), панибратская хамоватость, чиновничья грубость – характернейшие черты человеческих отношений в России. В 1993 г. И. Бродский сказал: «...Основная трагедия русской политической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку; в общем, если угодно – в презрении. Это обосновано до известной степени теми десятилетиями, если не столетиями всеобщего унижения, когда на другого человека смотришь как на вполне заменимую и случайную вещь. <...> Самое чудовищное последствие тоталитарной системы, которая у нас царила <...> – полный цинизм или, если угодно, нигилизм общественного сознания»*. Цинично-пренебрежительное отношение власти к гражданам, репрессивное законодательство и незаконно-репрессивная судебная система, блатная стилистика дипломатов, похабные шутки президента, сознательно лживая, скандальная пропаганда методично и ежедневно растлевают людей, лишают их чувства собственного достоинства, подменяя его ненавистью, самодовольством и хвастовством. Это нигилизм,

* Фильм «Иосиф Бродский. Возвращение», телеканал «Культура», 2010 г. Съемки проходили в Венеции в 1993 году. См., напр., здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=tAav-gNliII>

установленный как общественный анти-этнос и стиль отношений в государственной системе. Нигилизм, заявленный теперь и в стилистике международных отношений, включая дипломатию. Скабрёзности и цинизм в стилистике высших лиц России и дипломатов не унижают противника, потому что прежде всего свидетельствуют о том, что перед нами люди, лишённые чувства собственного достоинства.

Война – мировая – идет за это: останутся ли «двуногие без перьев», похожие на людей, достойными звания человека, или же ноуменальная (как сказал бы Кант) нравственная конституция, именуемая цивилизованностью, утратит силу, и люди вконец опустятся.

XI. Разрывы и участие

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке...

Б. Окуджава

Кожна душа обживає собі якесь тіло*.

С. Жадан

Фильм «Разрыв связи» А. Лошака очень поверхностно, как бы мимоходом затронул чрезвычайно важное событие – разрывы человеческих связей. На мой взгляд, разрывы гораздо глубже и потому обширнее. Они вовсе не исчерпываются разделением на жертв пропаганды и сохранивших здравый смысл, на патриотов одной или другой стороны, на путинцев и антипутинцев...

Связи, разрыв которых касается меня лично, слава богу, не семейные и вообще не с путинистами, с которыми – еще раз слава богу – никаких связей нет и не было. Это связи с моими давними друзьями. Это те самые «окуджавские» связи, сцепления

* Каждая душа обживает себе какое-нибудь тело (укр.).

рук людей нашего круга, моих давних друзей и далеких знакомых, которых можно было окликнуть строкой Пастернака или Галича. Как и я, они испытывают отвращение к путинскому режиму, ужас от того, что делает этот режим в стране и мире, отчаяние от бессилия помешать. Все они сочувствуют воюющей Украине как могут, протестуют против российской агрессии, уезжают в знак того же протеста или просто от нежелания участвовать, пусть и невольно, в государственном преступлении. Более того, это разрыв даже с некоторыми моими здешними, украинскими друзьями. Словом, некоторым образом это разрыв меня с самим собой. Вот этот разрыв я хочу выяснить.

Мы с Ирой уехали в Украину в 2014 году, после Майдана, когда уже началась агрессия России против Украины, через восемь лет ставшая широкомасштабной войной.

У нас было много украинских друзей и коллег. Это люди того же круга, что и мои российские друзья. Мы читали те же книги, смотрели те же фильмы, так же собирались за столом и пели того же Окуджаву. Там- и самиздат, «Хроника текущих событий»... Мы находились в одном умо-настроении и душе-расположении к миру и друг к другу. И вот разрывы пошли по ткани этого родства, трещины раскалывают наш общий стол. Руки расцепились, одни растерялись в одиночествах, другие... Что же другие, мы, я?

После взрыва эмоций – обвинений, обид, скандалов, банов – стоит присмотреться и вдуматься, что, собственно, затронуто, о чем идет суд.

Жизнь в Украине в эти годы полна своими разрывами: разрыв Майдана, разрыв Крыма, война на востоке, «армия, мова, віра» против «яка різниця?»*, «в Европу и НАТО» против «худой мир лучше доброй ссоры»... Это хорошая школа, тут постоянно треба було міркувати**.

Так что же за разрывы касаются – разрывают – меня?

* Какая разница? (укр.).

** Нужно было размышлять (укр.).

Подруга моей жены, живущая в России, пишет ей с упреком: «Почти каждый раз изумляюсь удивительному преобразению московской космополитки и человека принципиально антигосударственного в полную противоположность». «Ты можешь поддерживать военное сопротивление, – пишет мне мой давний друг, – только если сам сидишь в окопе». Мы бежали от казенного патриотизма и пропагандистской государственности узурпаторов власти, казалось, в свободное пространство мира и вдруг превратились в «узколобых» патриотов, государственников и чуть ли не националистов Украины: «Слава нации! Смерть врагам!»

В самом деле, почему вдруг я, закоренелый космополит и смиренный мещанин советского производства, уютно проживший жизнь в государстве своем, но всегда чуждом, враждебном и ненавистном мне, вдруг с энтузиазмом пою гимн государства чужого, но впервые моего и хожу здесь на митинги, обмотавшись жовто-блакитным флагом? Почему в моей душе, привыкшей обитать в пятках, звучание меланхолической симфонии советских бардов и менестрелей вдруг исчезло, а звучит вот марш украинской армии:

Зродились ми великої години
 З пожеж війни і полум'я вогнів.
 Плекав нас біль за долю України,
 Зростив нас гнів і лють на ворогів*, –

и на возглас «Слава Украине!» всем сердцем отвечаю: «Героям слава!»?

Разве я не знаю, спрашивают меня украинские друзья, что в независимой Украине самыми шароварными националистами и патриотами трипольского закала стали сотрудники кафедр истмата и научного коммунизма? А кроме того, если

* Мы родились в великий час из пожаров войны и пламени огней. Нас взлелеяла боль за судьбу Украины, взрастили нас ярость и гнев на врагов (укр.).

Майдан стоял за ЕС, то не противоречит ли этот архаический национал-патриотизм современному европейскому духу, не говоря уж о глобальном мире на горизонте?

Еще более глубокий и трудный для меня разрыв связан с «мовой». Всегда знал, что русский язык – великий дар, ни за что доставшийся не только нам, родившимся в России, но и множеству людей тут, в Украине. Почему же я вдруг против того, чтобы русский был вторым государственным? Против того, чтобы он считался естественно общепонятным языком общения и думания, против благотворного двуязычия, от рождения дарованного украинцам? Украина «насквозь русскоязычная страна», говорили мне друзья-украинцы; искусственная украинизация – это вмешательство политики в свободную жизнь языка, это ампутация культурного органа, пугали меня (и себя) мои украинские друзья. С какой же стати я вдруг стал противником русскоязычия, а сам-то до сих пор (между нами) так и не выучил украинскую мову?

Еще труднее – вопрос культуры. Я типичный советский м.н.с., тоскующий по культуре, даже культурупоклонник, но не только. Вслед за своим философским учителем В. Библером я сам что-то писал про философию культуры, аж про философию диалога (!) культур. Почему же я усомнился в спасительной миссии этого божества секулярной интеллигенции – Культуры? «Ведь если не культура, то что же спасет одичавших людей?» – спрашивал я вместе с моими друзьями. Откуда же теперь этот секулярный атеизм (бывает и такое), этот скепсис к секулярной религии культуры? Почему вместо мирного и культурного диалога мы с Ирой отслеживаем перемещение линии фронта и донатим воюющим ЗСУ?

А уж собственно русская культура, наша общая кровь и почва, – почему она подлежит «кэнселлингу»? Разве она сводится к имперским настроениям Пушкина, Достоевского или Бродского? Разве культура – пропаганда? Разве искусство – идеология?

Разве художественное произведение не вводит, например, тему имперского могущества в неразрешимое трагическое сплетение с темой человека в его малости, беззащитности, не видит, не открывает под спудом повседневной жизни стихийную бурю, противоборство господства и бунта?..

И снова я сталкиваюсь с самим собой. Я, родившийся в подполье Достоевского, раз и навсегда отчаявшийся отчаянием «скучных историй» Чехова, пожизненно заслушавшийся «Невечерней», напуганный кулаками «величиною в чиновничью голову», – словом, плоть от плоти мертвых душ и живых трупов, – что же, я должен теперь отправить самого себя вслед за русским военным кораблем?

Таковы поля моих сражений с самим собой и попавшими под руку друзьями.

Что касается «культуры» (в кавычках, или «в лапках», как говорят украинцы), оказавшейся вдруг в гуще политики, то наша растерянность объясняется просто. Это неизбежный результат межеумочного способа существования интеллигентных тел (тоже «в лапках») в «новой исторической общности – советском народе». В монолитном единстве партии и народа этим телам была отведена социальная «прослойка», щелка, заранее предусмотренное подполье. Чего-то политического эта прослойка касалась с двух сторон: диссиденты, то есть правозащитники, сам- и тамиздатели, – с одной стороны, а с другой – придворные союзы писателей, художников, композиторов. Политика размывала прослойку, друзья уходили «одни в никуда, а другие в князья». В средоточии же – в кухонных подпольях домашних общин, на книжных толковищах возле букмагов, в философских переулках, в курилках «Ленинки», «Исторички», «Иностранки» – культивировалась своего рода катакомбная культура вообще. Там бродило все: от «Добротолюбия» до «Камасутры», от Блаватской до Карнапа... На черном рынке книга «Пол и характер» О. Вейнингера стояла (была эквивалентом)

машинописного экземпляра «Розы мира» Д. Андреева или двух экземпляров «Логико-философского трактата» Витгенштейна, изданного «для служебного пользования»... Раритеты «для служебного пользования», нумерованные, а то и вовсе именные издания для чиновников идеологического фронта, дореволюционные издания, извлеченные правдами и неправдами из сундуков одиноких старичков, – словом, сокровища черного рынка, удачи случайных знакомств, вещи, известные по слухам, иллюстрациям, переводам, пересказам, спецпоказам, пластинкам на рентгеновских снимках, они-то и представляли квинтэссенцию культуры всемирной и современной. Жадно читали то, что было запрещено, и чем более было запрещено, тем жаднее. Фильмы в закрытых заведениях Госфильмофонда (Белые Столбы), на экранах-простынях в подвалах самодельных клубов... Их не смотрят, а подсматривают. Книги не читают, а впитывают, как последнее слово. Машинописный перевод «Мифа о Сизифе» А. Камю, данный на одну ночь, пересказы, слухи... Так – исподтишка, увлекательно, вперемешку – существовала «культура». А культура – это ведь то, что культивирует, выращивает, образует.

Конечно, были и специалисты, они имели доступ в спецхран, многослойный, как Кощеева смерть. Специалисты переселялись из курилок и дворишков при букмагах в гуманитарные шарашки при дворе, в личные кабинеты, в опасное соседство с органами. Им предназначались издания под грифом «Для научных библиотек», реферативные сборники «для служебного пользования», номерные переводы... Так культивировалась элита.

С другой стороны, где-то за стенами разных ЦК, в застенках ГБ, в программе «Время» на ТВ жила Политика. Узурпированная власть, она была обращена к гражданам монументами, портретами, плакатами, «дцатыми» съездами КПСС, пятилетними планами, продовольственными программами, спецорганами в разных видах и... «Хроникой текущих событий».

Чего не было вообще, так это гражданской жизни, жизни граждан своего города-государства, по-гречески полиса, по-латински цивитас (civitas), то есть собственно политической, цивилизованной жизни, как и положено человеку, если верить Аристотелю (полития) и Цицерону (res publica).

Политический смысл «нашей» культуры определялся просто и отрицательно: поскольку политика – это советская пропаганда, власть тупой номенклатуры, репрессивные органы и глухая цензура, постольку культура не только нечто антисоветское, но и антигосударственное, вообще – антиполитическое. Это там, в курилках и на кухнях, мы выучили, что «культура вне политики», что она «поверх границ и идеологий», что «патриотизм – последнее прибежище негодяя», а мы, понятно, поверх и вне всего этого морока держимся за руки во всемирном хороводе культурных людей...

Но культура не Церковь, в катакомбах и андерграунде она культивирует отнюдь не платоников, обитающих в мире вечных идей, а знакомого подпольного человека, то есть человека культуры, лишенной цивилизованного – гражданско-политического – существования как на форумах международной коммуникации, так и в сообществе своей страны. Вне политики культура чаще всего становится либо сферой «суждений вкуса», либо предметом культурологии: объективных исторических, семиотических, текстологических исследований.

Но были и разные типы человека подпольной культуры: религиозный, почвенно-патриотический (журнал «Наш современник»), технократический (школа Г. Щедровицкого), хтонический, либерально-платонистский (это мой)... Все они так или иначе стали в 90-е годы реальными политическими силами нынешней России.

Пару слов о двух последних.

Место плакатного оптимизма занимал какой-нибудь хтонический «метафизический реализм» Ю. Мамлеева (в недрах его

заводились существа типа А. Дугина, Г. Джемаля). Его писания, впрочем, лучше бы назвать «мистический некрореализм». «Некрореализм» и правда был – в подпольном кинематографе Евгения Юфита. Было «Смирненное кладбище» С. Каледина, была сатира соц-арта, сатирические антиутопии и фантазии А. Кабакова, В. Пелевина, В. Сорокина. А уж «Москву – Петушки» знали наизусть, как набожный неофит Евангелие.

С другой стороны, были полузакрытые лекции (тоже «спец») великих просветителей, удовлетворявших нашу тоску по культуре. Из них первый – Сергей Аверинцев, затем Вяч. Вс. Иванов, Юрий Лотман, Мераб Мамардашвили...

Да и сама всемирная культура располагалась рядом, в сериях «Библиотека всемирной литературы», «Литературные памятники», «Философское наследие», в разных ПСС. Правда, эти сокровища приходилось с трудом добывать, но при усердии можно было собрать приличную домашнюю библиотеку. Корешки на книжных полках воплощали ту самую всемирную культуру вне политики, обитающую в том самом мире идей (попросту – в библиотеках, музеях, консерваториях). Вскоре привезли из заграницы ксероксы, видеоплееры – читай, смотри, впивай...

Когда нас помиловали и выпустили в мир, специалисты начали работать в своих профессиях, верующие – служить в своих конфессиях, технократы-методологи пошли в администрации, почвенные патриоты и хтонические мракобесы стали просветителями и идеологическими советниками чиновников, а «прослойка» бросилась в «дебри культуры», куда «не ступала нога человека»*.

То, что на языке политики называлось «гласность и перестройка», на деле впервые открывало смысл политического как формы гражданского – полисного, цивилизованного – самосознания, более того, как условия действительности того, что на

* О. Мандельштам «Чаадаев».

языке катакомбной культуры называлось «духом». Оказалось, что реальность (действительность) культуры находится не на небе вечных идей, а тут и теперь, в той же *res*, что и *res publica*, подлежащая общей – политической – заботе сограждан. Если же забота об этой общей «вещи» или общем «деле» передается некоей корпорации специальных политиков-профессионалов (тем более если эта забота самодержавно узурпируется), а политически беззаботный, безучастный дух уходит из земной пещеры в елисейские поля вечных истин, то возникает до боли знакомая совковым интеллигентам диспозиция: чистый дух вечной культуры (в спецхранах) и грязная политика здесь и теперь.

В России в 90-е впервые эта диспозиция изменилась. По меньшей мере в Москве и Петербурге. Стена, разделявшая «культуру» и «политику», на время стала проницаемой. Мне повезло быть чуть ли не в эпицентре этого события – в РГУ, только что учрежденном под ректорством Ю. Н. Афанасьева. Наш ректор был также одним из учредителей «Московской трибуны» – своего рода интеллектуального парламента, где обсуждались горячие политические события, проекты партийных программ, проект Конституции А. Д. Сахарова. На горизонте маячило чуть ли не Учредительное (Конституционное) собрание, но... После залпов по парламенту 1993 года новорожденное гражданское общество раскололось, рассыпалось, политика вновь ушла за кремлевские стены, для граждан некоторое время оставалась улица митингов и шествий, но при Путине улица съезжилась в пространство, огороженное ОМОНОм, в стояния у судов, сидения в автозаках и ментовках...

Все изменилось для меня в 2013 году. Поворотным событием стал украинский Майдан, и поворот этот имел для меня силу и смысл настоящей «метанойи» – того изменения ума, что плохо переводится словом «покаяние». Дело идет, разумеется,

не только об эмоциях, даже не только об изменении самосознания – подлежит переосмыслению устройство понимающего ума, того интеллекта, о котором я тут веду речь, потому что война ставит его под неминуемый вопрос.

Майдан – событие, точно названное революцией достоинства. Это событие, исторически значимое далеко не только для Украины. Хотя вряд ли в планетарном мире кто-то его заметил, но если идет в мире какой-то «последний и решительный бой», то именно за достоинство человека. Не классы, народы, государства, цивилизации ведут этот бой, а одинокий человек против могучих безличных сил хтонических мифов, мифических фундаментализмов, фундаментальных идеологий и прочих идолопоклонств. Здесь, на Майдане, этот бой «одиноких» принял гражданскую и политическую форму. Сообщество украинского Майдана – это люди, собравшиеся, чтобы совместно защитить достоинство каждого. Не только за европейское будущее шла борьба, не только за свободную Украину, но именно за человеческое достоинство. Майдан стал Майданом в ночь на 30 ноября 2013 г. После жестокого избиения десятков протестующих, среди которых было немало молодых людей, студентов, наутро 1 декабря на улицы Киева вышли тысячи людей. Вышли и уже не ушли.

Сидя в Москве, в своей безопасной квартире у экрана монитора, я сочувствовал и участвовал в этом событии всем своим существом...

Майдан был для меня как бы повторением опыта стояния против путча 1991 г. Повторением, требующим извлечь урок, пристальнее всмотреться (я ведь не там, не в гуще происходящего, а за тридевять земель у монитора), вдуматься. Смертельная серьезность происходящего требовала гораздо более ответственного участия. Майдан претендовал быть событием учредительным, конститутивным, он включал пафос и энергию начинания. Это событие не только внутри имеющейся

политической и гражданской действительности. Это не государственный переворот, не политическая революция. Даже отстаивание европейской интеграции. После избияения молодежи ночью 30 ноября 2013 г. смысл противоборства изменился. В основание Майдана как проекта возможного национально-политического субъекта, рождавшегося здесь и сейчас, был положен принцип достоинства человека. В этом принципе, в этом начале заключается неустрашимая связь политического, гражданского, цивилизационного и культурного бытия человека.

Вот тут и вспомнилось мне «участное мышление», о котором говорит М. Бахтин в работе «К философии поступка»*. В названии, в теме парадоксально соединены философия, то есть мысль, считается, предельно отвлеченная (абстрактная, спекулятивная) о предельно отвлеченном (всеобщем, универсальном), – и поступок, предельно вовлекающий лично тебя в событие, на деле происходящее здесь и теперь с тобой и в тебе. Нет, поступок – это не «практика» ни в смысле этики (Аристотеля или Канта), ни в смысле марксистской теории деятельности, какого-нибудь прагматизма или организационной «мыследеятельности».

Поступок – это твое единоличное действие, как бы учреждающее всеобщий мир. Ты соучаствуешь в основополагании мира, одновременно всеобщего и исключительно своего. Существование в учрежденном таким образом мире повсюду содержит твое начинание – ответственное соучастие, содержащее парадоксальное событие учреждающего начала. Речь не о планомерной (законосообразной, методичной, организованной) практике. Для описания поступков, слагающих ткань мира-участия, уместнее такие загадки, как платоновское ἐξαιφνης – внезапно, вдруг, сразу, как ежесекундное творение

* Бахтин М. К философии поступка // Бахтин М. Собр. соч. в 7 т. М.: Русские словари, 2003. Т. 1.

времени Декарта, вечное возвращение Ницше, прыжок Кьеркегора, фактичность, решимость и событие Хайдеггера... Учредительный поступок – это весь человек, во всем размахе своего осмысленного (или укрывшегося от осмысления) существования, застигнутый в определенном «хронотопе», здесь и сейчас, собранный вместе со случившимися обстоятельствами, вобранный в свое смертное тело и сосредоточенный в решимости своего единолично решающего и монархически учредительного действия, а именно – бытия.

Участное мышление вовсе не банальная констатация, что человек мыслит, всегда в чем-то участвуя. Все так или иначе в чем-то да участвуют, за что-то да отвечают, а по ходу дела и мыслят. Профессии, конфессии, ремесла, деятельность политиков, хозяйственников, чиновников – повсюду действие сопряжено с мыслью, а мысль сосредоточена в действии. Иные занимаются интеллектуальной работой и в этом находят свое профессиональное дело. Но деятельность не поступок, о котором говорит Бахтин. Речь не об участии в делах внутри мира, повседневного или открытого для мысли в горизонте искомой истинности, всеобщего блага. Мир как данность – естественная, умозримая или божественная – не может быть вменен мне в ответственность. Перед божественной разумностью, разумной божественностью или познаваемой объективностью мира я если и ответственен, то только за недо-разумения своей частной случайности и блуждания своей мнимой свободой: беззакония, ошибки, огрехи, своеволие страстей и злоумышлений. В горизонтах мира, мыслимого как совершенная завершенность (истина-добро-красота), или как божественный замысел, или как предмет объективного познания и технического овладения, или как мир всеобщих этических норм и максим, или даже как трагический мир, оправдываемый лишь эстетически, – во всех этих мирах, заранее устроенных мыслью в благополучной истинности, зло возможно только в человеке,

так что всякая теодицея должна корениться в антроподицее. В оправдании нуждается только существование человека как источника зла: лжи, порчи, уничтожения. Но ведь человек – источник и той самой мысли, которой мыслятся эти совершенные миры в их предельных – или беспредельных – горизонтах, в их истинности, в их божественном благополучии. Позиция *sub specie aeternitatis* не находится в окружающем мире, а создается и занимается мыслью. Умозримые горизонты истинности не открываются ни глаzeniu по сторонам, ни иной всесторонней осведомленности: сторон слишком много. Они также не вычитываются из мировоззрительных учений, сколько их ни сравнивай в надежде на окончательное обобщение. Они, как говорил Платон, припоминаются. Припоминаются, потому что ниоткуда не выводятся, а, напротив, всегда уже пред-полагаются. Но ведь и не берутся с потолка. Нужно ведь как-то убедиться в том, что искомое начало – первое, что больше припоминать нечего, что первее ничего нет и быть не может. Вот почему такое припоминание первого, ни к чему более не отсылающего и ниоткуда не выводимого, трудно отличить от домысливания, чтобы не сказать выдумывания. Такой вот обрисовывается парадокс: там, где мысль надеется выйти наконец из себя (своих домыслов, выдумок, сомнений), где она имеет в виду не случайные вещи, а их истинность и хочет иметь дело не с собой, не со своими домыслами, а с самим бытием, хочет как бы коснуться его, – там-то она и подводит человека к событию начинания, осново-полагания, учреждения. Мысль, касающаяся априорных начал вразумительного мира (принципов), касается события начинания (инициирования), причаствует ему, участвует в нем: в первотворении, в осново-полагании, в конституировании.

Участное мышление начинается тут, в событии учреждающего соучастия. Вот тут – в радикальной, коренной мысли – и коренится связь изначальной участности человека в бытии.

Для участия в поступке бытия алиби нет, говорит Бахтин: ни теоретическая, ни эстетическая отстраненность, ни даже этический закон не создают места вне бытия-поступка, не освобождают от изначальной и перманентной ответственности. Ответственности не только за свои глупости и безобразия, но и за свой мир – за его истинность, совершенство, разумность, благость и божественность. Ответственности не за недо-разумения, а за разум, не за грехи, а за Бога, не за субъективные ошибки, а за объективные истины.

Участное мышление, которым человек находит себя соучастником в творении мира, иначе говоря, мышление философское – это и есть энергия мысли в самосознании онтологической ответственности. Философски ответственная, то есть не имеющая возможности сослаться на что-то положенное до нее и вне ее, мысль имеет характер поступка: решимости, разрешающей мир. Поскольку же решимость участного мышления содержит в себе парадокс начинания, учреждаемый им мир учреждается в модусе возможности. Он допускает возможность учреждения иного – равномогущего, равномогучего – мира. Поступок-дело учреждения хранит в себе возможность-мысль иного.

Понятно, что такой учреждающий – как бы мироначинающий – поступок в разных отношениях взрывает, чреват разрывами. Во-первых, это разрыв между сверхличностью, интерсубъективностью мира и своего рода солипсизмом едино-личного поступка. Во-вторых, разрыв между учреждающей мыслью, решающим действием и независимым бытием разрешаемого, решенного мира. Но прежде всего это разрыв с мирным миром повседневной решенности за тебя: миром правильной (приблизительно) науки, хороших (снисходительно) людей, воспитанных вкусов. В мире усредненных приближенностей царят «люди» (хайдеггеровское *das Man*) с их общепризнанными авторитетами.

Но поступок, который соответствует ответственности участного мышления, поступок-событие, которым человек вступает (рождается) в бытие на деле, становится участником в бытии решенного мира, никак не следует ни из мышления, ни из окаянной решимости. Поступок-событие не может быть необходимым следствием ни метафизической доктрины, ни гносеологической теории, ни эстетически отстраненной рефлексии, ни системы этического долженствования, ни усилия воли. Категорический императив нормирует поступок, но не вызывает его. Ни обращение в веру в ответ на «безумство проповеди» или даже на глас небес, ни келейное подвижничество не учредительный поступок, разве что следы его или условия возможности.

Почему? Что находится на стороне поступка? Только моя исключительная единичность, мое решающее одиночество, где нет ничего и никого, кроме меня, а этот «я» не отыскивается ни сомнением, ни даже отчаянием. Где же оно, решающее «я»? Как его отыскать в дебрях самого себя, которые гуще всякой метафизики? В этой чаще живут сплошь непонятные существа: мое тело, мои чувства, мои желания и нежелания, мое воображение, мои мысли, нечто именуемое моей волей, – словом, весь мир, так или иначе модифицированный в малом мире моего собственного имущества. Но ничто в этом имуществе, включая волю, ждущую решения, не совершает поступка, точно так же как ничто в мыслимом мире, замкнутом в своем совершенстве или отстраненном в своей объективности, не способно вызвать учредительный поступок.

Источник поступка таится в том средоточии моего одиночества, где рождается (тоже учреждается) автор – виновник и начальник – моего бытия в целом: автор моих убеждений, верований, обращений и отвращений. Только в уникальном средоточии своего одинокого авторства я вообще могу быть ответственно участным в бытии себя, своего добра, своего дома,

своего мира и самого бытия. Возможность решающего поступка предваряется событием рождения автора-виновника. В это событие некоторым образом входит и философское авторство мыслимого мира, в бытии которого я могу поэтому ответственно участвовать. Автор участной мысли – субъект не метафизический, не верующий, не эстетический, не гносеологический, не методологический, даже не этический, если под этикой разуместь заданную систему. Участная мысль не умозрит, не познает, а творит мир. Творит мир вместе с возможными соучастниками творения, соучредителями. Вместе со всеми откровениями и сокрытиями его богов, или его бога, или его обезбоженности, или...

Событие единоличного поступка здесь и теперь нельзя вывести ни из необходимых и всеобщих структур внеположного (постороннего) мне мира, ни из структур внутренних переживаний. Его нельзя и обобщить в нравственный закон. Это событие свободы, не выбирающей, а начинающей, учреждающей мир как свой. Учредительный поступок – это не вступление в готовый мир, это мир, вступающий в свое бытие энергией моего соучастного начинания.

Каждому художнику это должно быть понятно. Каждому зрителю может быть понятно тоже, если только его эстетическое восприятие не ограничивается суждениями вкуса, а соучаствует в произведении произведения, исполняет его, как музыкант партитуру. Книга мира, если воспользоваться классической метафорой, существует на деле, когда читается, но каждый читатель читает ее сам, в своем ее писании, в соавторском одиночестве.

Поначалу кажется, что участное мышление принципиально отличается от объективного познания науки и отвечающей ему техники. В науке понять – значит познать объективный, математически отстраненный механизм вещей (в том числе и самого человека) «вне и независимо от нас». Мир, говорит,

деантропоморфизируется (и мы, люди, вместе с ним), расколдовывается, оказывается вещью, но вещью, кажется, целиком (вместе с нами, людьми) отданной в наше (тех, кто познает и овладевает механизмами) распоряжение. Понимание же участного мышления определяется не геометрическими фигурами, а фигурами ответственного соучастия в бытии понимаемого. Понимаемое сразу должно испытываться характером участия в человеческом мире, измеряться мерою этого участия.

Но ведь техника, скажут, и есть фигура соучастия. Сегодня мы технически владеем чуть ли не самими творящими силами Вселенной, генетическими механизмами жизни, логическими механизмами самого интеллекта. Вот только несем ли мы ответственность за мир, раскрывшийся в науко-технике? Понимаем ли наше участие не внутри него, а в изначальном событии такого раскрытия мира? Что это был за поступок? Каким поступком мы однажды вступили и продолжаем вступать в мир, ставший нашим?

Таковы два полюса, создающие напряжение в поле человеческого бытия: абсолютная всеобщность самого – истинного – бытия, с одной стороны, а с другой – абсолютная единичность бытия на деле исключительно моего поступка. Только исключительная единичность поступка отвечает изначальной свободе человеческого бытия, только в развернутом горизонте мира (перед лицом как-то раскрытой всеобщности) поступок обретает характер ответственного события мироучреждения.

Перефразируя Канта, можно сказать: без моего соавторского соучастия бытие мертво, прикидывается естественной или сверхъестественной данностью, феноменологически очевидной явностью. Однако без горизонта внемысленного (невыводимого) бытия мое соучастие слепо, субъективно, психологично, это не соучастие, а социальное функционирование или так называемая личная жизнь.

Как произведение искусства не вещь, а партитура и сбывается только в соавторском исполнении, так и участное мышление не познает посторонний мир, а, напротив, понимает сущее постольку, поскольку находит лично значимый смысл его существования в соучастии со мною.

Мир, понимаемый участным мышлением, мир, в котором человек принимает участие, о котором он печется, заботится, который взращивает и культивирует, становится миром культуры. Не только орудия, изобретения и произведения человека – некоторым образом все в мире участного мышления, включая «естественность» природы, «рациональность» мысли, «психологию» переживаний, обретает черты произведений культуры. Культура – это и есть следы разных способов участного бытия, но также и хранилища начинаний, то есть возможностей будущего бытия. «Этим путем, – говорит Бахтин, – живое сознание становится культурным, а культурное – воплощается в живом. Человек однажды действительно утвердил все культурные ценности и теперь является связанным ими»*. Культура же, что существует как предмет исследований, как свидетельство образованности и/или как сфера возвышенных переживаний, – это одичавшая мумифицированная культура. На месте ценностей остались ценники.

Итак, только в горизонте бытия – истинного, всеобщего, внемысленного, но раскрываемого философски ответственной мыслью – мое соавторское участие будет вступлением в бытие, решающим поступком бытия. Отныне у меня не будет алиби, я не смогу отнекиваться, прикидываться безучастным теоретиком-наблюдателем, не смогу отговариваться: «Хорошо или плохо, не мое дело, а так оно есть», мне будет неуютно оставаться незаинтересованным созерцателем красот, возвышенным обитателем искусственных небес великой культуры или

* Бахтин М. К философии поступка. С. 34.

иного мира «не от мира сего». Участное мышление не примет ни ссылок на деловитую занятость, ни укрытий в институтах надежной традиции, ни тем более безответственных ссылок на то, что будто бы принято людьми «вообще». Можно, конечно, привычно делать вид, что ничего не происходит, надеясь смиренно провести отпущенное время в сторонке повседневного быта: ведь все наши частные хатки, бизнесы, лаборатории, кафедры – всегда с краю. Убить время можно по-разному. Да и вообще, в мире, куда я попал случаем моего рождения, ничто от меня не зависит, я нахожусь (точнее, теряюсь) всецело под властью обстоятельств: от космических излучений до состояния здоровья и случайных настроений. «Какой с меня спрос? Да и кто имеет право спрашивать? Что мы можем?» – повторяем мы как заклятье, и чистое алиби обеспечено, каждый может им воспользоваться, забыв о своем участном авторстве в этом всемогущем мире.

Именно понимание (исполнение, произведение) бытия как «внешнего», постороннего, объективного предоставляет человеку «другое место» для алиби: пространство безучастности – равнодушная природа и мятущийся в ней человек субъективных переживаний, рациональная наука-техника и человек, сам подлежащий научному – объективному – исследованию в социологии, антропологии, психологии...

Мы, однако, не замечаем, что за объективным познанием мира скрывается более изначальное понимание, которым мир заранее раскрыт и представлен не только как мир познаваемых объектов, но и как мир соучастного бытия (в этом случае, например, как потенциальная техника). Повторю: сначала мы каким-то образом уясняем, доказываем себе, что объективно познать «природу» чего угодно – звездного неба или морального закона – значит узнать причинный механизм. А это далее значит предоставить познанное в техническое распоряжение, иначе говоря, в такой именно склад соучастного бытия. И это

снова значит: мы несем ответственность за так понятый и пущенный в дело мир нашего бытия в мире, нашего со-бытия с миром.

Картезианская дихотомия «кто» и «перед чем» вовсе не диспозиция безучастности. Объективация мира – «вне и независимо» от «субъекта» – скрывает конститутивный акт личного решения. Философская медитация выводит меня из персональной ответственности, делает меня представителем всеобщего субъекта (науко-техники) перед лицом особой всеобщности так раскрытого мира.

Правда, о таком – производящем мир – понимании, о его собственной технике, логике, методе мы мало осведомлены. Бахтинский набросок «участного мышления» подсказывает: понимающее бытие человека в бытии мира – в целом и во всех подробностях – предполагает мир изначально и безысходно человеческим. Более того, понять мир как мир соучастия-события возможно, если перенести «мета» метафизического внимания из проблематичной потусторонности в предельную посясторонность исключительно личного средоточия. Здесь нет никого и ничего, кроме моего одиночества, где мне не на что опереться и куда никто не может за мною последовать. Но только здесь возможна встреча лицом к лицу со смыслом возможного бытия. Например, когда смысл бытия, оказавшегося всецело моим, измеряется – как на войне – его ежеминутно возможной утратой. Не нужно угрозы всеобщего апокалипсиса, чтобы всем существом участвовать в эсхатологии собственного конечного бытия. Участное мышление предполагает поэтому понимающее участие, присутствие в том, что происходит здесь и теперь, как условие понимания. Можно, конечно, быть в событии и ничего не понять, предельно захватывающее событие может не оставить места для понимания, но вход в мир участного мышления находится в опыте-испытании прямого участия, здесь тоже необходим своего рода эмпирический

базис – своего рода откровение, – без которого все понятия останутся пустыми.

Так, для участника сопротивления нацистам, для воинов, противостоящих сейчас российской агрессии, для жертв российского террора открывается пошлость безучастно затверженных моральных прописей: «ненависть рождает ненависть», «дьявол начинается с пены на губах ангела», «жалко и тех и других», «добро победит зло»... Участным ответственным здесь может быть только лично переживаемая ненависть и решимость сражаться. Так и все заповеди стоят у порога и ожидают твоего едино-личного прочтения и решения. Участное понимание не только не освобождается от персональной уникальности опыта, но как-то наполняет им понятие. Не из констатации всеобщей смертности человека мы заключаем к смертности индивида, а, наоборот, в лично переживаемом опыте смертельной угрозы понимаем, что такое смертность человека вообще, и должны как-то включить уникальность личного опыта во всеобщность понятия.

Разумеется, и события без соучастных понятий останутся слепыми, панически растерянными.

Отсюда, с этого края, с вершины, откуда охватывается (понимается) все – само – бытие как мое, оно – бытие – раскрывается не как безучастно чужое «что», а как изначально мое «как», словно доверенное – во всей своей вечности и бесконечности – моей личной конечной и ситуативной инициативе и исполнению.

В безусловной свободе соучастного начинания бытие может сбыться как событие со-бытия. Более того, исполняясь в смысле участного мышления и в событии авторского поступка, как бы соавторствуя в его свободном авторстве, само бытие раскрывается как незавершенное, еще только возможное будущее. Вовлекаясь в мир моего участия, все в мире тем самым изменяет (или впервые обретает) не только смысл, но и характер

своего бытия. Мир свободного участия – это никогда не тот мир, который тебе дан от рождения, – ни почва, ни родина, ни род, ни родство, ни язык, ни тело. Ответственно вступить в бытие как участник – значит некоторым образом породить свою родину, свой род, свое родство... вместе с порождающей бездной. Мир участного мышления – это вовсе не тот как-то всегда уже осмысленный мир, который ты знаешь отродясь или которому причастуешь в наследуемой традиции, – это мир в рождении, новорождаемый, учреждаемый твоей участной мыслью.

Здесь, в средоточии решающего одиночества, идет нескончаемый суд, рассматриваются свидетельские показания других авторов, других миров-одиночеств (других возможных смыслов бытия), рождаются категории сущего, очерчиваются топика и темпоральность мира, выносятся категорические суждения-приговоры, чему чем быть и в каких отношениях находиться, сказываются суждения, принимаются решения, рождаются свободные поступки, но с самого начала в суде принимает участие опыт личного участия в событии здесь и теперь.

Например, у Белого дома в Москве августа 1991 года, на Майдане в Украине зимы 1913 года... Или в Киеве в Украине февраля 2022 года. Здесь-теперь-так ты впервые вступаешь в дело бытия, рождаешься в мир, рождаемый вместе с тобой. Ты в нем воплощаешься.

Весь этот мир с самого начала присутствует во мне, присутствует не как обстоятельства, не как мировоззрение, а как смысловые существа моего собственного мира, словно впервые рождающегося сейчас и здесь. Роды могут быть неудачными, и мир-дитя не выйдет жизне-, миро-способным, или я-родитель окажусь ему негодным, но при удаче смысловое бытие моего мира изнутри образует мир моей «психики» (сознания), выращивает функциональные органы моего организма, учреждает сообщество моих «ты» и «они», встраивается в

тело своего социума – тело чрезвычайно разнородное: хозяйственное, юридическое, политическое, а это значит – в тело своего государства, своей цивилизации. Участию открывается исторический мир как мир соучастников, произведения культуры адресованы мне как опыты соучастия. Только здесь и так дух дышит где хочет.

Ты одинок и свободен, но не бесплотен. Есть плоть твоего тела, плоть языка – соавтора всего, что ты говоришь, – речевая плоть общения, стало быть, какой-то общины, плоть обычаев быта, плоть социума и плоть цивилизации, а это значит гражданских институтов, политических устройств, культов и особой сферы или особого модуса бытия всего перечисленного – плоть культуры.

Вот свидетельство харьковчанина, моего знакомого по фейсбуку, вернувшегося в разбомбленный Харьков: «Когда не жили в квартире полгода, а потом приехали, кроме повывлетавших от бомбежки окон, остальные проблемы обнаруживаются не сразу. Нынче у сантехников, электромонтеров и прочих ремонтников самый “сенокос”. Мы все в одной лодке. Ребята шкуру с клиента не дерут. Кто-то из них, как и мы, недавно вернулся из эвакуации, а кто-то всю войну был здесь. Работают на совесть, как для своих. А мы и есть уже тут все свои. Наша общая беда породнила нас.

Сегодня Харьков и никакой другой город мира для меня родина на всю жизнь. Сегодня Салтовка – самый обстреливаемый район Харькова – для меня самый уютный уголок в мире. Она вся в обгоревших руинах, но оживает и обновляется. И метро уже пустили до Гертруды, и автобусные маршруты. Скоро до Гертруды и трамваи пойдут. Мы тут все свои, мы не говорим: “станция Героев Труда” – она у нас Гертуда».

Высокий мир культуры тоже открывается на деле, за делом. Не как «третий мир» небесных ценностей или бытовой мир эстетических наслаждений. В вещах и произведениях культуры

запечатлены удачные события участного бытия, адресованные соучастникам. То, что происходит и что производится в исключительной единичности одиноко личного события, сообщается, становится общезначимым событием участного мира. Именно события-поступки участного бытия содержатся в произведениях культуры, ими сообщаются и к ним приобщаются. Как греческий Парфенон, готический собор, новоевропейский роман, романтическая симфония, камерный квартет, лирическое стихотворение... Как если бы они прежде своих дел и смыслов сообщали прибывшему в наш разбомбленный дом: мы тут свои.

Обстоятельства, сообщество, предложенные мне эпохой, не столько определяют мое участие, сколько озадачивают, они даны мне как условия задачи, требующей личного, авторского решения. Подсказки привычного быта, норм повседневной нормальности, различных традиций или общечеловеческого безразличия умолкают или превращаются в мертвые инструкции.

Мы уже – хотим не хотим – участвуем в эпохальном событии, а именно в событии нового великого переселения народов, в обществе так или иначе перемещенных лиц, размытых идентичностей. Нет никакого общества вообще. Мы рождаемся и становимся сразу в разнородных общинах: семья, родственники, дворовая компания, школа, город, села... свои, иные, чужие... соотечественники и иностранцы, международные организации, беженцы, лагерь... Если мы рождаемся в горячих точках современного мира, мы рождаемся в себя-решающего, но это вовсе не значит, что мы становимся посторонними странниками в чуждом мире. Это значит, не свой изначально мир производит тебя соучастником своего вековечного бытия, а ты сам должен обрести своим миром. Сообщество человеческой жизни – не то, в котором случилось очутиться при рождении, оно не только выбрано среди найденных в округе или

в глобальном мире. Оно всегда мое сообщество, сообщество соучастия, его состав и форма зависят от характера и моего способа соучастия в событии мира. Участное мышление, то есть, напомним, мышление, развертываемое в двух горизонтах: всеобщности и личной участности, сообщество решающего исторического события бытия. Наконец, участие в самом себе – своей психике и телесности – принимает данность тела как условие окончательной (смертельной) участности всем собой в событии. Отныне это я, принятый собою, близкие, принятые в близость, созданную моим одиночеством, сограждане моего града, политика моего полиса, мое национальное государство в том новоевропейском смысле гражданской солидарности, в котором оно было авторски учреждено революционной Францией и противопоставлено династиям и традициям.

Вопрос, который ставит перед человеком война на уничтожение, а лучше сказать, грозный вопрос, под который она ставит человека, требует ответа действием: это бегство или сопротивление. В сопротивлении же требует принять сторону, потому что позиция безучастно постороннего не дает понять.

Какой вопрос кроется в угрозе, к какой ответственности он привлекает интеллект, – это надо еще услышать, осознать, открыть, поставить умом уму, чтобы ум мог уразуметь возможность ответа. Тогда действующий человек может понять, что происходит, в каком событии он участвует, что защищает (бегством или сопротивлением на определенной стороне). Или же дело обстоит не так? Наоборот: бегство или сопротивление – это уже ответ, и соответствующее понимание следует искать в изначальном решении участвовать, спасаясь или сопротивляясь? Только вглядываясь, вдумываясь в то, что содержится в решении, уже принятом поступком, мы можем надеяться понять, кто мы такие, в чем мы соучаствуем (или отказываемся участвовать), что происходит. Слово «апокалипсис» означает разоблачение, обнажение, обнаружение...

Таков парадокс участного понимания, сочетающего несочетаемое: изначальную решенность, предельную вовлеченность, когда вся мысль сосредоточивается в настройке оптического прицела, расчете геолокации или времени перебежки, – и предельную отвлеченность от этого выстрела, этой позиции, этого боя, этой войны... Но вот ведь что: философская отвлеченность, свойственная участному пониманию, отвлекает туда же, куда отвлекает война, вырывая человека из повседневной жизни и призывая его на фронт, лицом к лицу с угрозой его бытию. Бытию, а не только жизни, бытию со всем, чему он причастен и что впустил в свое участие. Вот тут и стоят вопросы «отвлеченной» мысли: угроза со стороны кого-чего? угроза чему? чему противостоять? за что страшишься, что защищаешь? Что поставлено под вопрос: жизнь, имущество, близкие, дом, страна, государство, свобода, достоинство? За что мы несем ответственность вплоть до жертвы жизнью? На что нацелен прицел угрозы и скрытого в ней вопроса?

Мое участие в событии, увы, мой только мысленный поступок. Я здесь и сейчас – в Украине, в Киеве, но всего лишь за компьютером. Моим исключительно личным переживанием и решением открываю и учреждаю (увы, всего лишь мысленно) мою Украину.

Мое участие – мысленное, лишь эмоционально вовлеченное – в рождающемся бытии Украины началось в 2013 году, хотя я находился в Москве и событие для меня развертывалось на экране монитора. Это было сразу и событие, и зрелище, и участие всю душой, и попытка понять всем умом. Сам Майдан тоже ведь был странно эстетизирован: сцена, ведущий, песни, речи, молитвы, гимн... «Хор» присутствующих и тут же смертельные действия героев, схватка, грозящая гибелью и героям, и хору. Сразу же и решающее участие в битве не на жизнь, а на смерть, и зрелище, наполненное соучастным вниманием, пониманием, смыслом. С тех пор Майдан так и остался для меня

центром, фокусом всего дальнейшего существования, началом координат учреждаемого мира, в котором все, касающееся меня, может получить свое место, время и смысл. Понятно, что мир моего участия прежде всего наполнился Украиной, но пространство в этой системе координат открылось не столько украинское, сколько просто свое, мое собственное. На старости лет я обрел, наконец, свой мир. Нет, я не погрузился в изучение украинской истории, нет, я даже не выучил украинский – словом, я не стал украинцем, а перешел на ПМЖ в некоем безымянном междумирии, но при этом в раз и навсегда открывшемся своем мире, совпавшем отныне с настоящим и будущим Украины, которая ведет войну не только за себя, но и за достоинство человека.

Сейчас, живя в Киеве, в воюющей вот уже более полугода на пределе сил Украине, я живу в средоточии своего мира и в ясном сознании говорю себе: «Я счастлив!»

Сентябрь 2022 года

Анатолий Ахутин.

Война и интеллект. — Рига: Школа гражданского просвещения,
2024. — 112 стр. — (Серия «Своевременная мысль»).

ISBN 978-9934-9298-0-9

Книга Анатолия Ахутина «Война и интеллект» — это своего рода философский дневник первых месяцев открытого военного вторжения России в Украину, цель которого — превратить состояние войны в норму повседневной жизни.

Это война хаоса с космосом,
грозящая уничтожением мира.

Понимающий разум, проделывая особую работу обоснования своей универсальности, истинности и законности своей власти, тем самым противостоит абсолютному злу — уничтожающему *ничто*.

Автор отказывается быть «вне политики», когда Украина отстаивает себя в экзистенциальной войне с нашествием политического нигилизма.

Опираясь на бахтинское понятие участного мышления, он утверждает: интеллект ответствен за человека как виновника и соучастника исторических событий. Сюжет книги — мышление (интеллект) как ответственность.